

К ЧИТАТЕЛЮ

Во мне рано проснулось инстинктивное стремление остановить, запечатлеть мгновение в слове, документе. В 12 лет, в конце 1941 года, в Ашхабаде, во время войны, голода и побоев, я начал вести дневник в стихах. При всей убогости нашей жизни, при всех ужасах, которые уже пришлось пережить и которые ясно виделись впереди, время требовало эпоса. Конечно, никаких таких мыслей у меня не было, но что-то не только ужасное, но и величественное, по-видимому, я почувствовал. Хотя бы то, как меня выхватило из привычной среды и зашвырнуло через полконтинента вместе с несметными толпами других беженцев. Ребенок захватил самый краешек того, что с абсолютной полнотой воплотилось в «Василии Теркине» и «Доме у дороги».

Этот дневник пропал, когда мы с мамой пробирались из Туркмении на Украину весной 1944 года. Из-за того, что он был в стихах, кое-что я твердо запомнил и использовал в «Ржавом», «ШАДе» и «Письме», а один фрагмент включил в «Стихотворения двух тысячелетий».

Вторично я начал писать дневник, на этот раз в прозе, когда в 15 лет один жил в Киеве. И вел его до 17 с половиной лет. Тогда, уже десятиклассником, я однажды перечел его и ужаснулся: например, я, дурак, — больше того, опасный дурак, — записывал анекдоты о Сталине и всякий раз аккуратно указывал, когда и от кого их слышал. Во мне уже действовал будущий историк-источниковед. Но попади мой дневник в грязные руки, погибли бы люди, а я сам и погиб бы, и прослыл бы доносчиком. Немного поумнев и осознав, какую опасность мой дневник представляет, я с грустью его уничтожил.

Третий раз я начал вести дневник после XX съезда КПСС, и то не сразу, а полгода спустя, когда новый курс власти более или менее определился, людей перестали сажать и, наоборот, стали понемногу из тюрем и лагерей выпускать. При этом я его назвал «Журнал художественных и научных впечатлений» и в основном придерживался этой программы. Первая запись сделана 23 сентября 1956 года. Я по радио услышал, как Яхонтов прочитал «Моцарта и Сальери», и сравнил его исполнение с трактовкой пушкинской трагедии Журавлевым, которого в 1949 году я слушал в Киеве. Вторая запись датирована 17 октября 1956 года и имеет подзаголовок: «Борис Пастернак. Новые строки». Она представляет собою наброски статьи о публикации Пастернака в «Знамени», она многое предопределила в моей жизни, дальше на этих страницах я не раз к ней вернусь.

Больше я своего дневника не оставлял. Много позже я узнал латинский афоризм, который полно выражает мое мироощущение филолога-историка-археографа: «Quod non est in actis, non est in mundo». Бывали перерывы продолжительностью в месяц и длиннее. Нередко записи делались ежедневно. А иногда — несколько раз в день, когда я пытался уловить, куда растекается мое

время. Может быть, это как-то помогало мне ориентироваться во времени, но долго я такой системы, конечно, не выдерживал. Только немного дней. Жена привезла мне из заграничной туристской поездки «Доктора Живаго» по-французски. До тех пор я его не читал. 15 января 1969 года я записал между прочим (я работал в педагогическом институте): «7–9.30. Читал Пастернака и плакал. 10–11, 12–15, 16–17 составлял отчет о педпрактике (5 часов!). В промежутках завтракал, ходил за картошкой, обедал. 17–17.30. Читал Пастернака». 17 января начинается с записи: «8–12. Окончил Пастернака».

В конце длинной, больше двух страниц, записи 29 января 1957 года с подробным планом исследования о поэтике Тютчева читаю: «Кроме того, наметил основные “узлы” истории русской поэзии». Под 25 мая 1960 года нахожу запись: «Тютчев займет еще года три-четыре. Окончив его, возьмусь за *Lebenswerk* — историю русской поэзии, вернусь к старым наброскам. Весело». Удивления достойно, что книгу под таким названием я задумал на студенческой скамье, написал-таки и в 1994 году в Москве издал и в том же 1994, 1996 и 2004 переиздал. А ведь до падения идеологической диктатуры и отмены цензуры такая книга — честная! — была абсолютно немыслима. И вот записал в дневнике раз, другой, так, вроде бы мимоходом — и сорок лет спустя осуществил.

Иногда записи, возникающие не подряд, а на расстоянии, помимо моего желания складываются в единый сюжет, даже со своей фабулой. Один из таких примеров я сейчас приведу, ни слова не меняя, убрав только некоторые фамилии и ничего не поясняя. Основное понятно.

«1 ноября 1984 г., четверг, 5:31:20

Конкурс.

Вчера прошел конкурс, возможно, последний раз в жизни. Когда прочитали, что за пять лет я опубликовал 127 работ, проректор возмутился. Меня переспросили. “Сто двадцать семь?” — “Сто двадцать семь”. Ректор сказал: “Ясно, что он плохо ведет воспитательную работу, ему же некогда. Правда, заведующий кафедрой?” — “Правда!” — радостно подтвердил заведующий. Так был почтен мой труд. Так закончился месяц октябрь.

3 ноября, суббота, 9:52:07

Вчерашний день.

В вестибюле института встретил ректора.

— Вы правильно поняли мое замечание на совете?

Тут бы и ответить:

— Как же не понять? Понял во всей его философской глубине.

Но я промолчал и прошел мимо.

5 ноября 1984, понед. 21:18:43

Гришунин написал, что мою заявку об издании “Моих воспоминаний” Буслаяева в “Лит. памятниках” приняли с удовольствием, причем Лихачев, Г. В. Степанов (два академика), Гаспаров, Егоров, Пуришев со всевозможными похвалами и комплиментами отзывались обо мне. Значит, надо браться за работу.

Еще один отголосок совета, на котором я проходил конкурс. Подошел проректор и извинялся за выкрики по поводу количества моих публикаций. Шакалы.

6 ноября 84, вторник, 1:59:12

Ночь располагает к раздумьям.

31-го октября моя особа была предметом обсуждения в двух местах.

В Москве на заседании редколлегии “Лит. памятников” рассматривалась моя заявка на издание “Моих воспоминаний” Буслаева. Гришунин написал: “Как тема заявки, так и фамилия исполнителя (т. е. Ваша) вызвали энтузиазм. Д. С. Лихачев произнес какие-то очень хорошие слова о Вас как об ученом и работнике; Г. В. Степанов — тоже, Егоров, Пуришев, Гаспаров — все “за”, и все другие горячо одобрили” (письмо от 1 ноября).

В тот же самый день и час в Совете института я проходил очередной (раз в пять лет) конкурс. Ректор и проректор по научной работе отпускали такие реплики, что даже этим прожженным негодьям стало неловко, и в последующие дни они оба подошли ко мне с извинениями».

Чем не маленькая новелла?

14 апреля 1970 года я записал: «Я работаю для 3-го тысячелетия». Сейчас наткнулся на эту фразу и удивился: каков был наглец! А, в сущности говоря, ничего особенного в этой мысли сорокалетнего доцента нет. Только звучит вызывающе. Но вот мои научные идеи, сформировавшиеся тогда, живут сейчас, мои ученики, выращенные тогда, работают теперь, в третьем тысячелетии, и мои работы того времени читаются и переиздаются.

Я храню тысячи писем от сотен корреспондентов (к сожалению, недостаточно аккуратно), использую их в работе над мемуарами, иногда их публикую и всякий раз торжествую: еще кусочек жизни удалось вырвать у забвения.

Я не могу похвалиться надежной памятью мемуариста. Как ни странно, именно поэтому за достоверность моих воспоминаний, за исключением самых ранних детских, я ручаюсь. Я позволяю себе писать только на основе документов, в первую очередь, — своего дневника и писем. Иногда память в общих чертах сохранила какой-то интересный разговор, захватывающий образ, необычное впечатление. Велик соблазн вырвать из забвения, записать... Нет, нельзя: легко ошибиться. Что не осталось в документах, того не было в жизни. Для меня как мемуариста закон таков.

Получив и прочитав мой очерк «Смоленский Сократ», А. Л. Гришунин мне написал: «Вы продолжили свой жанр лирико-мемуарного литературоведения» (23.03.1996).

Вот запись, сделанная 5 июля 2003 года в 5 часов 38 минут утра. Она даже имеет заглавие:

«Розовый свет

Проснулся в четверть шестого и поразился: комната залита розовым светом. Подошел к окну. Слева, на востоке, небо нежно-розового цвета. Облаков не видно, а просто розовое небо.

К ЧИТАТЕЛЮ

Я теперь скуперее стал в желаньях.
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Прямо передо мной интенсивно зеленые деревья. Самое высокое делит пространство так, что слева от него все розовое, а справа от него начинается серо-голубое небо. Еще дальше справа, к юго-западу, крыло моего дома, перпендикулярное моему корпусу, ярко-желтое, облитое светом невидимого мне восходящего солнца. Я стою довольно долго, не в силах оторваться от зрелища, что-то смутно думаю об импрессионистах, вроде того, что ни на какой plein air и выезжать не нужно, что даже Ренуар таких эффектов не уловил. И вдруг на моих глазах на фоне серо-голубой части неба из-за деревьев вырастает радуга... Описать это слов нет. Только:

Я громко шепчу: благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь».

Ох, как трудно писать правду! Кто не пробовал, себе этого и не представляет. Особенно если обладаешь некоторым воображением. В нижеследующем тексте все до последней мелочи — правда. И вместе с тем моя авторская воля — я это чувствую — решительно вторгается в повествование. Она проявляется в отборе людей и фактов для изображения. В стиле. Именно в такой, а не иной смене точек зрения и передаче реплик персонажей. В распределении материала, то есть в композиции. Я бы определил жанр этой прозы как *былое и думы*. Не соотнося ее с великой книгой Герцена ни в чем, кроме одного: я вижу сходство в соотношении правды жизни и авторского вмешательства. Автор свой долг вроде бы выполнил. А теперь —

Вспоминание о полувеке
Пронесшейся грозой уходит вспять.
Столетье вышло из его опеки.
Пора дорогу будущему дать.

Благодарности

На разных стадиях подготовки этой книги к печати мне помогали мои ученицы-коллеги Ольга Геннадьевна Аторина, Татьяна Александровна Карпицкая, Элеонора Леонидовна Котова, Ирина Владимировна Марусова, Олеся Александровна Некоз, Анастасия Александровна Новик, Наталья Александровна Сафроненкова, Лариса Анатольевна Старовойтова, Ольга Михайловна Таршина.

М.С. Козлова приняла на себя труд составления указателя имен. Серьезную помощь оказала мне издательский редактор Оксана Анатольевна Потанина. Всем им я приношу сердечную благодарность.

Автор

Часть первая

События

— |

— |

глава первая СНЫ МОЕГО ДЕТСТВА

Земная жизнь кругом объята снами...

Тютчев

сон первый ПОЖАР

Ресторан гостиницы «Лондонская». Одесса. Пальмы в задрапированных кадках. Огромные окна, по сути — стеклянная стена, открывающая вид на Приморский бульвар и дальше на море, на порт, где среди коллег-пароходов стоит четырехмачтовый парусник «Товарищ». Мне пять лет, я сижу напротив Юрия Карловича Олеси и не свожу с него глаз. Мне не полагается здесь быть, но так уж все совпало: бабушка заболела, работница взяла выходной, а остаться дома один я не пожелал. И вот я могу дотронуться рукой до Ольги Густавны, жены Олеси, до собственной мамы, такой нарядной, с браслетом на левой ноге, — так тогда носили модницы — с подкрашенными губами, припудренной, какой я ее никогда не вижу, а взглядом ласкаю папу, когда на какой-то миг отвожу все-таки глаза от знаменитого писателя, великого стилиста. Мы, мужчины, тоже в порядке, не только дамы. У каждого костюм, белая рубашка. Галстук-бабочка. В окна льется солнце. Сверкает белизной четырехкрылый парусник «Товарищ».

Празднуется литературно-кинематографический успех Олеси — один из немногих, пришедшихся на его долю за всю его жизнь. Он небрежно отклоняет поздравления, пожимает плечами и произносит, как бы глядя на себя со стороны:

Один прозаик
Писал про заек.

И знаете, когда это было? Шестьдесят восемь лет тому назад. Можете ли вы себе представить такую эпическую дистанцию? Я почти что не могу. Мне легче поверить, что я это видел во сне.

Великий стилист и папа пьют что-то белое и увлеченно, все более возбуждаясь, о чем-то громко говорят, говорят. Мама и Ольга Густавна прихлебывают из бокалов что-то розовое. И тревожно поглядывают на мужей. В моем вполне взрослом бокале виноградный сок. Я слегка опьянен всем, что со мной происходит.

Обед приближается к концу. Папа с мамой закуривают папиросы, дело привычное. Я внимательно слежу за тем, как Олеша достает толстую длинную сигару, снимает с нее яркое плотное бумажное кольцо, бросает на меня пронзительный взгляд, сосредоточенно отрезает кончик сигары, сует ее в рот, чиркает спичкой, зажигает сигару, без тени улыбки, как-то многозначительно

снова смотрит на меня и вдруг, продолжая разговор, широким уверенным жестом подносит ту же спичку к углу накрахмаленной скатерти. Я с восхищением жду, что будет. Разговор по инерции продолжается еще несколько мгновений. Наконец скатерть вспыхивает.

Со всех сторон раздаются возгласы, ее сдергивают со стола, сыплется, звенит хрусталь и стекло. Суетятся официанты.

Пламя тут же загасило. Все заахали, заохали. Один я был в восторге. Я всю жизнь считал, что замечательный писатель устроил пожар специально для меня. И сейчас так считаю. Только иногда в сомнениях спрашиваю себя: уж не приснилось ли мне это?

сон второй АБСОЛЮТНОЕ

Станция Ковалевского на Четвертом Фонтане. Туда ходят особые полупустые одесские трамваи с подвижными сиденьями. Ехать надо по малоллюдному пригороду, мимо дач по левую сторону и моря по правую, долго-долго. Дойдя до конца маршрута, трамвай не разворачивается: кольца нет. Вагонвожатый переходит на другой конец вагона, где тоже есть рукоятки управления, а пассажиры, которые входят, чтобы ехать в центр города, переворачивают скамьи так, что сиденья становятся спинками, а спинки — сиденьями, и все устраиваются по ходу трамвая.

А еще в одесском трамвае возле входа-выхода на высоте метра от пола проведена желтая черта. Когда я до нее дорасту, за меня надо будет платить, и кондукторша будет отрывать мне билет. Хотя до черты мне еще далеко, я почти каждый раз становлюсь под нею: а вдруг чудо произошло, и я одним рывком до нее дорос, стал взрослым?

Вскоре я уехал из Одессы и вернулся в нее полвека спустя. Станция Ковалевского, оказывается, — обыкновенная остановка в черте города. Ходят туда самые обыкновенные трамваи. Никакой желтой черты в метре от пола нет. Уж не приснилось ли мне все это?

К слову сказать, дом на углу Дерибасовской и Ришельевской, в котором я жил на четвертом этаже и с балкона которого на голову длинной очереди сбросил железный грузовик, — дом этот где стоял, там и стоит. Но как далеко было во сне от него до Приморского бульвара с памятниками Пушкину и Дюку! А оказывается, до них рукой подать.

Так вот, на станции Ковалевского в моем сне был дом творчества писателей. Помещался он на даче Федорова. Так говорили: дача Федорова. Много позже я узнал, что Александр Митрофанович Федоров был замечательный и весьма плодовитый писатель, близкий, очень близкий друг Бунина. Они и в эмиграцию уехали почти одновременно, Федоров месяцем раньше. А жена его Лидия Карловна осталась, не уехала. Дачу советская власть реквизировала и превратила в писательский дом творчества, а Лидия Карловна стала его заведующей. Приблизительно то же самое произошло после смерти Волошина с его домом в Коктебеле.

Бунины, Федоровы и весь их круг (к которому принадлежал и Горький) были труженики, зарабатывавшие на жизнь писательским ремеслом, люди состоятельные, но не богатые по меркам Мамонтовых, Морозовых, Третьяковых, Сувориных. Житейский обиход их был весьма демократический. Однако после революции замашки Лидии Карловны, весь тон ее поведения и порядки, введенные ею в доме творчества, представлялись верхом аристократизма. Сама она держалась как *grande dame*, а *table d'hôte* устраивался так церемонно, словно бы мужчины обедали в незримых фраках, а дамы — в вечерних платьях. Писателям и их женам это нравилось. Мне — тоже. Это была такая игра.

В то лето здесь отдыхали Юрий Карлович и Ольга Густавна. С ними жил их племянник Сева, сын недавно умершего Эдуарда Багрицкого. Он был всеобщий любимец. Я любил его за то, что он катал меня вдоль моря на велосипеде, посадив впереди себя на раму. Ему предстояло через несколько лет погибнуть на войне; как хорошо, что смерть не отбросила вперед свою тень. Лето текло вполне беззаботно.

Как вдруг однажды появились две тонные дамы, знакомые Лидии Карловны. Я им не понравился с первого взгляда, и не удивительно: я был босяковат. За табльдотом они стали меня муштровать. Всем было неловко. Мои родители отводили глаза. Но у меня нашелся заступник. Посреди обеда великий стилист внятно произнес, внимательно разглядывая приезжих дам:

— Говно абсолютное.

После внезапного всеобщего потрясения Лидия Карловна первая пришла в себя. Она воскликнула:

— Юрий Карлович! Что вы такое говорите! Как можно? Извинитесь сейчас же, ради всего святого!

Он встал, невысокий, плотный, с крупной головой, поклонился двум тонным гостям, расшаркался и сказал:

— Простите, если можете, что я сказал «абсолютное».

сон третий

МЕРХОЛЬДА ПРИЕХАЛА

Я дружил с Зинаидой Николаевной Райх и был знаком со Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом. Не верите? Или это мне приснилось?

Сейчас я вам расскажу.

Летом 1936 года Мейерхольд что-то делал или вел какие-то переговоры на Киевской киностудии художественных фильмов. От жаркого украинского солнца их с Зинаидой Николаевной спрятали в Святошине — киевском дачном пригороде. Мой отец был заместителем директора киностудии по художественной части (худруком студии, говорили взрослые обычно); возможно, поэтому дача Мейерхольда оказалась по соседству с нашей. Участки разделял заборчик из колючей проволоки. Дачные участки в Святошине тогда от дороги отделялись деревянными заборами, а между собой почему-то всюду, не только у нас, разделялись колючей проволокой, прятанной в кустарнике

и зарослях акаций. Так что не следует в колючей проволоке видеть намеков на судьбу, вскоре постигшую и Мейерхольда, и моего отца.

По утрам за Мейерхольдом приезжала машина.

Теперь эта фраза звучит как нельзя более обыденно. Но в 1936 году машина, приезжавшая в Святошино утром за режиссером, производила приблизительно такое же впечатление, какое позже произвела бы пролетка, запряженная парой гнедых рысаков, приехавшая за Юрием Петровичем Любимовым, чтобы отвезти его в Театр на Таганке. Любопытные выглядывали из-за штакетника, самые решительные приближались к машине и с жадным интересом рассматривали стальные и медные детали, прислушивались к тому, как стучит и фыркает мотор, жадно вдыхали запах бензина. Мейерхольд не заставлял себя ждать, и через несколько минут видение пропадало.

Зинаида Николаевна оставалась одна.

Чтобы она не скучала, мама одалживала ей меня. Колючая проволока раздвигалась вверх и вниз, и мама передавала меня из рук в руки Зинаиде Николаевне. Мы с Зинаидой Николаевной проводили вместе целый день. Она кормила меня обедом, я играл у нее на участке. Свято соблюдался ритуал дневного сна.

Вечером, но еще засветло, машина появлялась снова. Ребяшня высыпала на шоссе и бросалась к ней с криками «Мейерхольд приехал!» Я тоже, с позволения Зинаиды Николаевны, покидал участок и присоединялся ко всеобщему ликованию. Я был уверен, что замысловатое слово, которое носится в воздухе, — название машины. До ее пассажира мне дела не было.

— Мерхольда приехала! — орал я изо всех сил.

Всеволод Эмильевич был добрый человек. Он просил шофера покатасть нас. Поэтому его приезд и вызывал взрыв радости. Мне кажется, в открытую машину набивалось нас, мальчишек, не меньше десятка, и Катакази (благодарная память на всю жизнь сохранила фамилию шофера) в начинавших сгущаться сумерках неся по Брест-Литовскому шоссе, а потом возвращался обратно к даче Мейерхольда.

Мы переживали абсолютное счастье.

сон четвертый В АРЫКЕ

А это уже 1942 год.

Одесса, «Лондонская», станция Ковалевского, дача Федорова, Киев, Святошино — все в руках фашистов.

Мы в Ашхабаде, и мы с папой идем на Текинский базар покупать книжку по шахматам. Вдруг кто-то окликает его по имени-отчеству. Голос идет откуда-то снизу. Мы останавливаемся как вкопанные.

В Ашхабаде вдоль всех улиц были вырыты канавы — арыки. Вода охлаждала воздух и хоть как-то боролась со жгучим солнцем. В воде шныряли головастики, над нею вились комары.

Но многие арыки оставались сухи. Опустив ноги в такой арык, сидит великий стилист. Перед ним на газете стоит бутылка и лежит хлеб.

— Соломон Моисеевич, присаживайтесь, — произносит он и тем же широким жестом, с каким приглашал за свой столик в «Лондонской» или за табльдот на даче Федорова, приглашает папу теперь.

— Юрий Карлович, я не один, я с сыном.

— И Буська пускай присоединяется.

И такой страшный сон отложился в моей памяти.

сон пятый ПОЛСТУЛА

На вторую ночь я проснулся от грохота.

— Мамочка, не волнуйся, это гроза, — сказал я.

— Глупенький. Это ты меня успокаиваешь или вправду так думаешь?

В единственном окне висит круглая луна.

— Это налет. Иди ко мне на кровать. Если убьют, так пусть сразу обоих.

Я пересел к маме. Кроме двух кроватей, в комнате ничего не было. Только посредине на крюке, предназначенном для люстры, уже висела самодельная боксерская груша: мешок, набитый песком. Мама убрала у меня со лба волосы: она любит, чтобы мой лоб был открыт.

Гул моторов приближался.

— Веззуу...

— Веззуу...

— Веззуу..., — говорили они басом.

— Кому?

— Кому?

— Кому? — наперебой высокими голосами спрашивали зенитки.

— Ввваммм!

— Ввваммм!

— Ввваммм! — отвечали бомбардировщики.

Гроза шумела громом взрывов и дождем осколков. Казалось, моторы гудят прямо над нами.

— По-моему, они удаляются, — говорю я.

Мама кладет свою мягкую руку на мою руку.

Утром я пошел в школу. Это был одноэтажный жилой дом. Посреди обыкновенной комнаты стоял стол, вокруг него человек двадцать семиклассников и учительница. Я сел на краешек стула. Недавно освобожденный Житомир был разбит, и в школу принимали только со своим стулом. Вчера я пришел в первый раз, и меня не хотели принять: у меня не было стула. Мама как врач попала в Житомир по мобилизации, я при ней. У нас не было ничего. Но Юра Ольховский сказал директору, что пустит меня на свой стул, и меня приняли.

Часть первая. *СОБЫТИЯ*

— Вы с матерью почему не спрятались ночью в щель? — шепнул Юра.

— Разговоры! — Учительница постучала по столу костяшками пальцев. —
Тема урока: «Комедия Николая Васильевича Гоголя “Ревизор”».

После уроков я подобрал на берегу Тетерева большой кусок газеты. Вернулся домой, наелся картошки, час побоксировал с грушей. Я отрабатывал прямой правой. Трудность в том, что удар следует наносить не рукой только, а всем корпусом, вкладывая в него тяжесть всего тела. Я бы подумал, что и это все мне однажды только приснилось, но у меня в речи на всю жизнь остались словечки из боксерского жаргона: забаканный; загнать в угол; держать удар.

Затем я поставил на пол чернильницу-невывливайку, лег на живот и стал делать уроки: писать между газетных строк сочинение «Образы чиновников в комедии Н. В. Гоголя “Ревизор”».

Потом это стало ритуалом.

— Веззуу... Веззуу... Веззуу...

В окне осветительной ракетой висела луна.

Я пересаживался к маме, и она брала меня за руку своею теплой рукой.

— Кому? Кому? Кому?

Осколки зенитных снарядов барабанили по крыше.

— Кажется, они улетают, — уверял я маму.

— Ввваммм!

— Ввваммм!

— Ввваммм!

На три четверти разрушенный дом испуганно вздрагивал.

Утром мама шла на работу, а я бежал в школу.

глава вторая РЖАВЫЙ

1. РОТ ФРОНТ

И слышу наших игр я снова шум игривый...
А. Пушкин

Ни плохих, ни хороших, ни средних...
Все они по своим местам,
Где ни первых нет, ни последних...
Все они опочили там.

А. Ахматова

— Эй ты, ржавый!

Он поднял голову и вытянул шею.

— Эй ты, ржавый! Жми сюда, кому говорят?

Он подошел.

— Становись на ворота. Да ты что, глухой? Калик, поставь его!

Почти взрослый человек лет тринадцати взял его за плечо и передвинул на нужное место.

— Это ворота, понял?

Калик показал два больших камня справа и слева от него. Ворот он не увидел и промолчал.

— Понял? — переспросил почти взрослый человек лет тринадцати и дал ему подзатыльник. В глазах пошли круги.

Он кивнул, чтобы Калик больше не дрался.

— Мы будем мотаться, а ты следи, чтобы мяч не пролетел здесь. Пропустишь — смотри!

И он снова получил по шее. В глазах на минуту потемнело.

Все хотели быть форвардами, забивать красивые голы, и никто не хотел стоять на воротах и голы пропускать.

Он так никогда и не узнал полного имени Калика. Тогда все, что с ним происходило, он принимал как священную данность и только старался получше ее усвоить, а потом стало некого спрашивать. Он с родителями только что переехал в новый дом и едва ли не впервые вышел во двор. Этот первый день в новом городе и новом дворе оказался одним из самых значительных в его жизни.

Дом был огромный, четырехэтажный, с четырьмя парадными. Подъезды назывались парадными не случайно: каждая квартира, кроме парадного хода, имела еще и черный ход, который из кухни вел на задний двор. Это был первый дом города, когда въезжаешь в него на машине по Брест-Литовскому

шоссе, как въехал в него он. По правую сторону шоссе тянулись огромные заводские корпуса — «Станкостроительный», Сорок третий («Авиа завод»), непременно добавляли, понизив голос, говоря о нем) и «Большевик», а по левую открывалось летное поле аэродрома, за которым, по мере приближения, вырастал дом. Он навсегда запомнил адрес: Брест-Литовское шоссе, 86. С тех времен номер дома изменился, а шоссе стало проспектом.

Он хотел было убежать от Калика и его друзей, но какой-то инстинкт подсказал ему, что этого делать не следует. Если бы он убежал, в жизни семилетнего мальчика многое пошло бы иначе. Но он остался и начал добросовестно следить, чтобы мяч не проскочил между камнями справа и слева от него.

Так в его детской судьбе, впервые без участия взрослых, произошло сразу два знаменательных события. Он получил кличку Ржавый (менее утонченные обитатели двора звали его просто Рыжий) и стал вратарем (в ту пору чаще говорили: голкипером) дворовой футбольной команды.

Веснушки постепенно сошли, волосы поседели, футбольная карьера не состоялась из-за испортившегося зрения, а людей, которые помнили детскую кличку, не осталось.

После обеда он вышел во двор снова. За домом, на большом пустыре, заросшем бурьяном, были сложены обрезки досок, и несколько хлопцев строили халабуду. Раздавался аппетитный стук молотков. Ржавый несмело приблизился. Как-никак утром он играл с ними в футбол. Вот и Калик. Но никто его не заметил.

— Здорово, — сказал он свойски.

Ему не ответили и даже не взглянули в его сторону.

Он потоптался вокруг возникавшего сооружения. В жирную землю были вогнаны четыре здоровых кола, и теперь ребята прибавляли к ним доски. Две стены казались готовыми, и уже узнавался будущий дворец.

В это самое время уверенно подошел карапуз чуть поменьше Ржавого, как-то странно сжал ладонь в кулачок, вывернул его, поднял к плечу и сказал непонятное слово:

— Ротфронт.

Ребята заулыбались.

— Ротфронт, Юзик!

Карапуз отбежал к доскам, ухватил одну из них и деловито подтащил к строительной площадке.

Ржавый почувствовал, что сейчас заплачет, и пошел к дому. Ему удалось начать всхлипывать вне пределов видимости строителей. Зато чем дальше он отходил от них и чем больше приближался к своему парадному, тем отчаяннее выражалось его горе. Не исключено, что Ржавый ревел во весь голос.

Он уперся головой во что-то упругое. Отер глаза и увидел, что уперся головой в пряжку. Пряжка принадлежала ремню, ремень — брюкам, а брюки — толстому, крепкому, широкоплечему дяденьке.

Похоже, он нарочно стал на пути мальчика.

— Ты чего плачешь?

Ржавый, конечно, заревел еще горше, если только это было возможно.

— Ты куда?

Ржавый боднул собеседника в живот.

— Ты чей? Тебя как зовут?

Ржавый продолжал брыкаться и вырываться.

— Ты бы поздоровался, — сказал толстый, крепкий, широкоплечий. — Давай здороваться.

Ржавый был унижен безразличием ребят, ненавидел себя за слезы, а этого дядьку за то, что он видит их. Ничто не могло умиротворить Ржавого. Но дядька повторил:

— Давай здороваться.

И вдруг добавил:

— Ротфронт!

Поднял кулак, прижав его к плечу, ну точно как Юзик.

Ржавый тоже поднял свой кулак к своему плечу и растерянно повторил:

— Ротфронт!

Немедленно после этого он утер слезы и сопли. Он совсем не понимал, что происходит, но отлично чувствовал, что происходит нечто значительное.

— Ты как относишься к фашистам? — спросил собеседник Ржавого.

— Плохо, — ответил мальчик.

— Молодец, — услышал он. — Все, кто плохо относятся к фашистам, так здороваются и так узнают друг друга.

Потрясенный, Ржавый побежал домой.

— Ротфронт! — крикнул он маме, когда она открыла дверь. И поднял кулак на уровень плеча.

— Ротфронт! — ответила мама, широко открыв глаза.

Оказывается, и мама знает это замечательное слово, и мама плохо относится к фашистам. Как-то до сих пор ему не приходилось беседовать с нею об этом. Он не пошел в комнаты, а стал слоняться в передней. Наконец на лестнице раздались неровные шаги и постукивание палки отца. Мальчик распахнул дверь, выскочил на площадку, чуть присел и заорал зычно, что есть силы:

— Папа, ротфронт!

Наверное, это выглядело забавным, но папа не рассмеялся. Напротив, он стал серьезным — не то суровым, не то грустным — переложил палку в левую руку, как-то подтянулся, кулак правой поднял к плечу и произнес:

— Ротфронт!

Он был знаком с венгерским писателем Матэ Залкой, — знаменитым генералом Лукачем, который сейчас командовал Интернациональной бригадой в Испании. Там шла настоящая война с настоящим фашизмом.

Сын узнал это через минуту, как только они вошли в квартиру. Генерал Лукач был еще жив. Ему предстояло погибнуть через несколько месяцев, но этого отец и сын не ведали.

— А что такое ротфронт? — спросил сын.

Отец тяжело опустил в кресло.

— «Рот» — по-немецки «красный», это тебе известно. А «фронт», Буська, — всегда фронт.

Папа хромал и ходил с палкой с гражданской войны. На одной ступне вместо пальцев у него был страшный белый рубец. Недавно он споткнулся, упал и поранил себе обе руки. Потом он несколько дней с трудом передвигался по комнате. Директор киностудии Нечес приехал его навестить. Шофер Катакази посадил в машину пацанов и промчался с ними по шоссе, но Буська остался около отца. Нечес сказал отцу:

— Эх ты. Теперь с тобой нельзя здороваться ни за руки, ни за ноги.

Во время гражданской войны отец Ржавого был солдатом Добровольческой армии. Сын еврея-переплетчика, он в девятнадцать лет пришел к денкинцам. Его старший брат был мобилизован еще в 1914 году, попал в плен к австрийцам, в 1918 году вернулся из плена и стал большевиком. Потом братья с трудом выносили друг друга. Потом отец Ржавого сделал об этом фильму (так говорили и писали в то время), которая обошла экраны Европы и Америки. Еще потом...

Нечес же был в молодости балтийским матросом, участником революции, и несмотря на разное прошлое, они с отцом Ржавого крепко дружили. Ржавый удивился: как же это он сам не догадался, что такое ротфронт?

Мама стояла в дверях и смотрела на своих мужчин с сомнением. Неужели пришла пора рассказывать о таких вещах ее малышу? Что он может понять?

Между тем, первыми немецкими фразами, которые научился произносить Ржавый, были:

— Дас ист айн Ротармист.

— Дас ист айн Вайсгардист.

Наглядным пособием служил первомайский плакат, на котором красноармеец всаживал штык в брюхо толстого белогвардейца. Но мама была миролюбива, и ей значительно больше нравилось, когда сын, прибегая домой, кричал:

— Мути, ихь бин мюде, ихь бин хунгрихь. Гиб мир бите этвас тринкен унд эсен.

До переезда в Киев Ржавого учила немецкому языку пожилая Зинаида Владимировна. Немецкий язык ему никак не нравился, потому что занятия всегда, как назло, отнимали время у самых интересных дел.

— Видишь, какой выразительный немецкий язык, — заметил папа. — «Рот — фронт». И все ясно.

— Вижу, — ответил сын.

Воистину то был важный день его жизни. Не самый ли важный?

Он навсегда научился еще двум вещам: любить за его выразительность немецкий язык и ненавидеть фашизм.

Напрасно мама сомневалась. Сердце семилетнего мальчика вместило не детскую ненависть к фашизму. Оно трепетало от негодования. Оно враз вобрало в себя всю ненависть, какая только была ему отпущена на целую жизнь.

— Генриетта Романовна, вы уложите Буську? — сказал папа. Это значило, что они с мамой уходят. Они любили театр, принимали и посещали друзей. Когда в Киев приезжал Художественный театр, они смотрели весь гастрольный репертуар. Мама шуршит крепдешиновым платьем, пахнет духами, подкрашивает губы, пудрится, сама завязывает папе галстук. Папа берет свою

палку, мама несколько раз поворачивается перед зеркалом, и вот бабушка с внуком остаются одни.

— Давай побеседуем, — просит он, усаживается, как взрослый, на кушетку и начинает: — Бабушка, если будет война и меня убьют, ты не плачь: я умру за советскую власть.

— Пусть лучше они умрут, эти убийцы и негодяи, которые испортили нам жизнь, — отвечает бабушка и направляет свои и внука мысли по менее кровавому руслу; она рассказывает одесский анекдот революционных лет.

— Извозчик, на бульвар Фельдмана.

— Фельдмана? А где это?

— Не знаешь? Бывший Николаевский.

— Ах, это Николаевский, как же, знаю. Я только не знал, что фамилия Николая Второго была Фельдман.

Бабушка сообщает внуку и семейный анекдот. Молодому человеку, который хотел жениться на его дочери, дедушка сказал, поднеся к его лицу открытую ладонь:

— Ты на ней женишься, когда здесь вырастут волосы.

Молодой человек стал отцом Ржавого.

Перед сном никак не удавалось снять один ботинок. Ржавый потянул не за тот конец шнурка, и вместо того, чтобы его развязать, затянул зловредный узел. Пришлось взяться за дело бабушке. Несмотря на все усилия, и она не сумела развязать. Раздосадованная, она крикнула:

— Будешь, как свинья, спать в одном ботинке!

И тут же они оба расхохотались, представив себе свинью в одном ботинке. Более серьезных огорчений они друг другу не доставляли.

На другое утро Ржавый едва прожевывает завтрак, и то под сильным нажимом бабушки, и вот он уже во дворе.

С замирающим сердцем подходит к хлопцам.

— Рот фронт!

— Рот фронт! — отвечают они. — Покикаем, Ржавый?

Не веря в чудо, он становится на ворота, и Калик начинает его тренировать. Остальные смотрят и обмениваются замечаниями. Он слышит слова «Идзиковский», «Трусевич», но еще не знает их значения. Как сладко они звучали, когда чуть позже его стали брать на стадион и диктор перед матчем объявлял по радио состав киевского «Динамо»!

— Вратарь — Идзковский! — произносил он веско и делал паузу, чтобы все осознали значение этого сообщения.

Над ним действительно стоило задуматься. Оно предвещало, что вслед за капитаном команды выбежит на зеленое поле хищный горбоносый человек и на полтора часа станет полным хозяином штрафной площадки.

Или:

— Вратарь... (пауза) — Трусевич!

И на поле выйдет высоченный, в красно-черном полосатом свитере Тигр (так его называли поклонники) и станет вытаскивать, казалось бы, безнадежные мячи из всех четырех углов семиметровых ворот.

Да...

Двор велик, он вмещает не одно, а сразу несколько чудес. Поодаль колет дрова Севка Сгибарцев. Над его светлой головой на солнце то и дело вспыхивает сталь топора. Он уже кончил школу и работает на том самом Сорок третьем. Сейчас он обнажен до пояса и играет всей своей рельефной мускулатурой. А рядом на скамейке в синем-синем платье с широким белым воротником, лежащим на плечах, сидит Зойка — Зока, — дочь начальника гаража, столь прекрасная, что смотреть на нее так же больно, как на солнце. Тем не менее, почему-то Ржавый ее прекрасно видит, несмотря на тренировку. Она перебрасывается репликами с Севкой и весело смеется, болтая стройными ножками. Строгий дворовой этикет предписывает прятать чувства, и он ничуть не нарушен. Но в то же время всем ясно, что Севка так лихо играет топором и всеми мускулами только для Зоки, а она запрокидывает голову, встряхивает густыми блестящими черными локонами и болтает полными ножками исключительно ради него.

Появляется вчерашний знакомый с пряжкой, ремнем, брюками и широкими плечами.

— Рот фронт, Григорий Зиновьевич! Рот фронт, дядя Гриша! — здороваются с ним хлопцы. Ржавый тоже. Дядя Гриша бодро отвечает. Это он научил их замечательному слову, это он рассуждает с ними об Эрнсте Тельмане, о Мадриде и Гвадалахаре. Ржавый молчит, не смеет вмешаться в разговор, куда там, но он стоит рядом. Он! Стоит! Рядом!

Пожалуй, ни один Растиньяк или Жорж Дюруа не был так счастлив на вершине головокружительной карьеры, проникнув в самый замкнутый аристократический круг какого-нибудь Сен-Жерменского предместья, как Ржавый, когда почувствовал, что его приняли в свою среду шулявские хлопцы.

Немало рассказано о предвоенных и военных судьбах отчаянных москвичей с Малой Бронной и из Марьиной Рощи, об одесситах с Пересыпи и Молдаванки. А я вам рассказываю о хлопцах киевской рабочей окраины. Все ли даже нынешние киевляне знают, что такое была довоенная Шулявка? А не киевляне?

Скоро Ржавому пришлось убедиться, правда, что до настоящего признания еще далеко. Еще предстояло научиться играть в ножик, не плакать, когда давали по сопатке и пускали юшку, таскать у мамы мелочь и проигрывать ее в коцы (так называлась несколько усложненная игра в орлянку), отчаянно матерясь, брать мяч в ноги у форвардов соседнего двора, так, что они летели через тебя, и не плакать, когда из рассеченной надвое губы хлещет эта самая юшка, и испытывать при этом приливы счастья, лазать через забор на киностудию и не плакать, упав с клена с уровня второго этажа. Главное — не плакать. А это бывало труднее всего. И труднее трудного было не плакать, прощаясь с отцом.

Ржавый благоговейно принял все условия игры.

Научился всему.

Например, научился играть в ножик. Выигравший брал щепку, с одной стороны ее заострял и черенком ножа вгонял в землю. Если выигрывал Калик —

не беда. Если Виля — он был на год-два постарше — еще лучше: щепка забивалась неглубоко, и ее нетрудно было вырвать зубами. Но когда играть со Ржавым изъяснял желание Вовка — а об отказе не могло быть и речи — хлопец лет шестнадцати, гроза двора, и не только детей, но, кажется, и взрослых, он злорадно загонял колышек так глубоко, что его не было видно, и прежде, чем его добыть, предстояло наглотаться земли: вырывать его полагалось ртом, без помощи рук.

Часто кто-нибудь выходил во двор с бутербродом или аппетитно хрустевшим яблоком. К нему можно было подойти и сказать:

— Дай кецик.

Пожалуй, следовало подойти и сказать:

— Дай кецик.

Иначе выходило, что ты не веришь в исключительную вкусность его яблока или бутерброда, пренебрегаешь. Владелец деликатеса зажимал в руке ту часть, которую желал оставить себе, и протягивал снесь просящему. Тот имел право укусить один или даже два раза, разевая рот пошире, пока не будет заглотан изрядный кусок. Таков был обычай.

Ржавый научился разбираться в сложных человеческих отношениях.

На первый взгляд, вся молодая поросль двора — от дошколят и чуть ли не до Севки — была одной компанией. У них был форпост — еще одно замечательное немецкое слово! — несколько родителей и старших ребят, которые направляли общее бытие. Все вместе играли в войну, в футбол, в цурки-палки, в шахматы, летом ходили в яры, зимой на каток, участвовали в ослепительных маскарадах, маевках, спектаклях. Виля и Калик в каком-то таинственном кружке учились боксу и тут же передавали (иногда довольно болезненным образом) свои познания Юзику, Люсику и Ржавому. Иногда могло показаться, что малышей обижают и эксплуатируют. На самом деле старшие их незаметно опекали и приобщали к суровому будущему, которое уже подстерегало их всех за высоким забором, ограждавшим двор.

Впрочем, на каток в Пушкинский парк Ржавый предпочитал бегать не в стайке, а вдвоем с веселой, стройненькой Сусанной. Они летали, взявшись за руки наперекрест.

— Суслик, пошли на каток.

— Пошли. Ма, можно я пойду на каток?

— Ты же знаешь, одной нельзя.

— Я не одна.

— А кто с тобой?

— Ржавый.

— Ну ладно, идите. Только возвращайтесь пораньше.

Переплетя руки, они упоенно скользили на «снегурках», но мечтали о «пионерах» с ботинками. До эпидемии фигурного катания оставалось еще лет двадцать и мировая война.

Вместе с тем, у разных поколений были свои собственные истории, в которые другим вмешиваться не полагалось. Калик, Виля, Петька (чаще его звали Печа) лишь снисходительно посматривали на Юзика, Люсика, Бэлы, Томки и

Ржавого детскую возню. Однажды Вовка страшно избил Вилю. У всех на глазах. Мальши не поняли, с чего началась драка и почему приняла такой ожесточенный характер. Потрясенный, Ржавый через час отправился к Виле. Его ровесники ждали внизу. Виля в одних трусах сидел на краю ванны, время от времени вздрагивал всем телом и как-то судорожно вздыхал. Его мать Валентина Марковна, парторг киностудии, член партии с дореволюционным стажем (все знали, что настоящее ее имя было Зинаида, а Валентина — подпольная кличка, которую она сохранила навсегда), плакала и причитала над его кровоподтеками. Ржавый привык видеть ее грубоватой, мужеподобной и даже не сразу узнал. Он сунулся было с соболезнованием и расспросами, но Виля решительно их отклонил: то было дело их с Вовкой. Их, а не кого-либо еще.

И свои, опять-таки таинственные, непонятные дела были у поколения Севки Сгитарцева и Зоки. Туда и мелюзге, и подросткам уж давно не полагалось совать нос.

Ржавый научился этим и всем другим премудростям. Он восторженно принял все условия игры. Одному научиться не смог.

Когда халабуда была достроена, она стала красным Мадридом. Понадобились фашисты, чтобы его штурмовать. На эту роль старшие обрекли Ржавого с Юзиком и Люстиком и объяснили, что им следует делать. Но они наотрез отказались. Даже на время, даже самым условным образом, даже под угрозой остракизма, увесистых щелобанов и чего угодно. То был неслыханный бунт, но их так и не удалось сломить. Пришлось старшим отражать атаки воображаемых врагов.

Все они неистово ненавидели фашистов и так же страстно любили Красную Армию.

Вам было когда-нибудь семь лет, читатель?

А стояли ли вы в семь лет в каких-нибудь семи шагах от длинной танковой колонны, идущей мимо вас маршем?

В дни первомайских и ноябрьских военных парадов утром по Брест-Литовскому шоссе к центру Киева шли танки.

Дрожала земля.

Дрожал воздух.

Содрогались и подпрыгивали дома.

Во всей округе на разные голоса радостно звенели стекла.

Вкусно пахло отработанным бензином и перегоревшим машинным маслом.

Каждая проходившая громада обдавала жаром.

От гордости и счастья сладко замирала душа.

По обеим сторонам шоссе стояли люди и смотрели во все глаза.

Гигантские зеленые коробки прокатывались по своим гусеницам всеми колесами и мгновенно переносили стальные ленты дальше. Трудно было понять, как это низ гусеницы лежит какой-то миг неподвижно, а верх непрерывно скользит вперед. Пушки хищно тянулись вдаль. В откинутые башенные люки были впаяны командиры с каменными лицами в больших черных ребристых шлемах и смотрели прямо перед собой. Колонна двигалась невообразимой, неуправляемой лавиной, с неотвратимостью судьбы заполняя собою весь мир.

Шоссе крошилось. После праздников привозили котел на колесах, варили асфальт и долго ремонтировали покрытие дороги.

Когда прошел очередной танк, на шоссе остался небольшой, слегка запачканный машинным маслом болт. Как танкисты ни готовились к параду, а, видимо, кто-то его недовернул. Надвигалась следующая машина. Вдруг из толпы выскользнула детская фигурка и даже не очень спеша направилась к болтику. Все опешили. Может быть, кто-то и крикнул, даже скорее всего люди кричали малышу, чтобы он вернулся, но в страшном грохоте ничего не было слышно.

Это был Ржавый. Он подобрал болтик и спокойно вернулся, весьма довольный своей добычей. Болт был еще теплый. Пальцы приятно лоснились. Очередное металлическое чудовище прогромыхало мимо.

Ржавый меньше всего думал блеснуть удачью. Просто вдруг представился случай и безумно захотелось заполучить живой, теплый, пахучий кусочек горючего любимого танка. Истребители, танки, бронемашины не сходили у него и его друзей с языка.

— Ну, герой, иди уже бронезавтракать, — звала его бабушка.

Теперь он никак не мог понять, почему сердятся, кричат на него Зока, Печа и другие. Танки, танкисты — это было настолько свое! Ребенку и в голову не приходило, что нельзя внезапно возникать у них на пути, что огромные машины могут его нехотя раздавить. Он относился к ним с абсолютным доверием. Ведь это Красная Армия. Свои.

К счастью, мамы при его выходке не было. Но ей рассказала соседка. Мама испугалась задним числом, несколько раз шлепнула его и пожаловалась папе. Папа промолчал. Вечером, когда Ржавому полагалось спать, он услышал, как папа сказал:

— А я рад. Теперь я вижу, что у меня растет сын.

— Между прочим, сегодня ты мог его лишиться, — возразила мама.

Похожий диалог он вскоре услышал снова при менее драматических обстоятельствах. Однажды он обегал свой дом и в окне первого этажа увидел свою ровесницу Тамару Левадарову, девочку с быстрыми черными глазками.

— Томка, выходи! — позвал он.

Она показала ему розовый язычок.

Он позвал ее снова.

Она снова показала язык, а сверх того скорчила необыкновенно обидную гримаску.

Ржавый еще не знал женского нрава и не представлял себе, как следует поступать в таких обстоятельствах. На всякий случай он поднял с земли увесистый камень и запустил им в кокетку.

Стекло разлетелось вдребезги. Тамара была счастлива.

— Ага, ага, теперь тебе попадет! — уверяла она.

И ему попало. Еще как! Но опять только от мамы. И опять вечером папа сказал в другой комнате:

— Что ты хочешь? У нас растет сын.

— По-моему, хулиган у нас растет, а не сын, — уточнила мама.

Однажды ранним летним воскресным безоблачным утром над Шулявкой появились самолеты с черными крестами. Иногда было видно, как от них отделяются бомбы. Происходило это прямо над задранными головами хлопцев, а рвались бомбы дальше, среди заводских строений и на поле аэродрома. Они летят не вертикально вниз, а по дуге из-за инерции, объяснил Севка. Над детскими же головами один бомбардировщик был подбит и, дымя, ушел за горизонт.

Так в одиннадцать лет произошло то, к чему готовила Ржавого жизнь: он увидел фашизм в лицо.

В этот самый первый день войны, уже после первой бомбежки, все отправились на стадион. На новый, огромный стадион, открытие которого с важным футбольным матчем было назначено именно на двадцать второе июня. Состоится? Не состоится? Уже по дороге стало ясно: не состоится. Навстречу потоку болельщиков струился другой, отраженный замкнутыми воротами стадиона. Но хлопцы все же не повернули назад, дошли до конца. Там стояли милиционеры.

— Открытие откладывается, — повторяли они. — Билеты сохраняйте. Разобьем фашистов, тогда приходите. Билеты будут действительны.

— А когда? Когда это будет? — поинтересовался Ржавый.

Кто-то хмыкнул.

— Трудно сказать, — ответил милиционер серьезно. — Может, в начале осени.

«Как долго ждать», — с тоской подумал Ржавый и аккуратно припрятал билет.

Хлопцы тоже бережно клали свои билеты кто в кошелек, кто в карман.

Первым из них пал смертью храбрых Вовка всего через два месяца.

Юзика вместе с родителями и двумя сестрами еще через месяц расстреляли в Бабьем Яру.

В Харькове, где жила еще одна ее дочь, оказалась в начале войны бабушка Ржавого. Фашисты расстреляли их обеих вместе с многими тысячами других евреев на территории ХТЗ — Харьковского тракторного завода.

Севка пал смертью храбрых летом сорок второго. Калик пал смертью храбрых осенью сорок второго.

Виля пал смертью храбрых позже, весной сорок четвертого. Валентина Марковна, в то время парторг большого госпиталя, показала Ржавому письмо командира части. «Пал смертью храбрых». Ржавый уже не удивлялся тому, что она плачет, причитает и задыхается. Когда она получила это письмо, у нее начались жестокие приступы астмы, которые сопровождали ее до конца дней.

Дядя Гриша умер в Киеве от горя и истощения в самом конце войны, 5 мая 1945 года, уже после взятия Берлина. Гроб с его телом установили в четвертой проекции — маленьком зале для просмотра отснятой пленки при монтаже фильмов. Из всего его Красного Фронта один Ржавый, голодный и оборванный, вместе со взрослыми стоял в почетном карауле. Взрослые разыскали его, прикрепили к рукаву его куртки черную повязку и поставили в ногах открытого гроба. Он стоял и не плакал, как учили его в детстве.

Вот сжатая статья о нем в первом томе «Кинословаря». Все так. Кинорежиссер и сценарист Гричер. Но у энциклопедического словаря нет таких слов, которыми можно было бы рассказать, чем он был в предвоенные годы для шулявских хлопцев.

Теперь напротив их постаревшего дома, на том месте, где они строили халабуду и кикали, стоит кооперативная девятиэтажка. А их дом, некогда такой величественный, сморщился и пригнулся к земле. Не так давно Ржавый приехал в Киев, навестил его, обошел кругом. Именно то окно первого этажа, которое он когда-то разбил камнем, не вынеся женского кокетства, было все в трещинах и теперь. Ему показалось, что это старый дом шлет привет из прошлого и улыбается дорогими морщинами.

Не медленное расслабленное помахивание из стороны в сторону рукой со слегка растопыренными пальцами, заимствованное из фильмов итальянского неореализма: чао!

Не помахивание открытой ладонью вперед-назад.

Не дружеское объятие, даже не энергичное размашистое мужское рукопожатие — любимый жест Ржавого.

Рука, согнутая в локте, так, что играет бицепс, тесно прижатая к корпусу, скинувшая кулак на уровень плеча и развернувшая его вперед запястьем, — интернациональный жест всех антифашистов предвоенных времен — вот его любимый жест на всю жизнь.

Многое изменилось с той поры в мире и в душах людей. Другой видится история. Не стало друзей Ржавого, не стало и его самого. Такого, каким он был. Но...

— Рот фронт, друзья!

Самый ненавистный для него жест — рука, вынесенная вперед и вверх, приветствие фашистов.

А самый любимый — согнутая в локте рука, прижатая к туловищу и вскинувшая к плечу упрямый кулак.

— Рот фронт!

Рот фронт, дядя Гриша. Рот фронт, Вовка. Рот фронт, Юзик. Рот фронт, Севка. Рот фронт, Калик. Рот фронт, Виля. Рот фронт, Валентина Марковна. Рот фронт, товарищ Эрнст Тельман. Рот фронт, товарищ Матэ Залка — генерал Лукач.

Рот фронт!

2. ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРАЗДНИКОМ

— Как тебе сказать? Мелочь, например, твой отец никогда не считал. Ты думаешь, это не имеет значения? Не скажи. Друзья называли его граф Киев-Киевлянский. Сколько ни нужно было уплатить копеек сверх рубля, он клал еще рубль. Сдачи не брал, давали — не считал. Дома выгребал из карманов монеты, какие завалились, и бросал где попало. Просто освобождал карманы от сора. Приехал под Новый год в Москву, пришел в гости к твоей тете

Марочке, а перед ним двое из магазина волокут корзину цветов. Представляешь? Зимой? Корзину? Марочка спустила его с лестницы вместе с цветами: «Что я тебе, любовница? Лучше бы Соне и Буське что-нибудь купил». Такой был человек. Деньги ему буквально жгли руки, прожигали карманы. Никогда у нас ни гроша за душой не было. А уж в командировку уезжал... — Если вспомнить любой день ранней детской жизни Ржавого, то окажется, что папа либо собирается в командировку, либо пребывает в очередной командировке, либо только что вернулся. Это было одно из самых употребительных и одновременно одно из самых загадочных слов. Никто, в том числе сам папа, не мог разъяснить его значения. Люди ездили в Харьков, в Ирпень, на дачу, а папа ездил в командировку. Ржавый любил мимоходом и одновременно со значением сказать во дворе: — Папа? В командировке. — Производило впечатление, знаете? Однажды папа взял с собой в командировку жену и сына. Кубик купе оказался отделан темно-красным деревом и медью. Медь сверкала. В нарядных зеркалах — одно вделано в дверь, другое в стену — отражался свет матового плафона. Вкусно пахло чистотой. Перед мальчиком открылось невиданное зрелище: два дивана приделаны к стене один над другим. К верхнему ведет лестница. Против них массивный, темно-красного же дерева, с медной отделкой, с кожаной спинкой и таким же сиденьем, стул. Настольная лампа. Лампочки в изголовьях диванов. Ржавый мигом устроил иллюминацию. Пепельница вделана в стенку. Да тут можно всю жизнь провести, так все удобно и уютно. На полу толстый красноватый ковер. Ржавый открыл дверь в соседнюю комнату и обмер. — Ма, ты посмотри. Уборная и ванная вместе. Сделал что тебе надо и тут же вымыл руки. Никуда ходить не надо, не то что у нас дома. — Проводник принес чай в тяжелых подстаканниках и пакетики сахару-песку. Ложечки позвякивали о стенки стаканов, как языки колокольчиков. Вот что такое командировка. Ничего себе. Дома у папы тоже был подстаканник. Массивный, серебряный, с монограммой. Подарок. Я просто счастлив, что теперь он у меня. Папа любил, чтобы чай был предельно горяч и заварен покрепче. Он значительно помешивал сахар в стакане, потом помахивал серебряной же ложечкой, чтобы она остыла. Тем временем несколько остывал и чай. Папа снова опускал охлажденную ложечку в стакан, где она опять нагревалась, и еще более значительно, придерживая ее большим пальцем, отхлебывал несколько глотков. На этом чаепитие заканчивалось. Мама посмеивалась над непоследовательностью этого обряда, каждая составная часть которого отрицала другую: — Чайная церемония. Сразу видно, что чай пьет знакомый Маяковского, Луи Арагона, Луи Муссиака. С ним не шутите. — И Ржавый отлично чувствовал, что для папы чаепитие — это обряд. Слова такого у него, конечно, не было, а понимание было. Запомнились и некоторые рассказы, сопровождавшие чайную церемонию (и без которых она была немислима), особенно при гостях. Вот для примера один из них. Как-то Маяковский увидел на столе у отца сценарий начинающего автора и стал его лениво перелистывать. Сценарий был из современной жизни, там мелькнула реклама Маяковского, причем с ошибкой. Маяковский взял у отца толстый красный карандаш, жирно исправил неточность и сказал: — Передайте авто-

ру, что перевернуть классиков все-таки не полагается. — Но то дома, а здесь все, и мама, и даже Ржавый, пьют из подстаканников с монограммами. Читать Ржавый не умеет, букв не знает, спрашивает, помахивая ложечкой: — Ма, что это за монограмма, а? — НКПС. — А почему? — Народный комиссариат путей сообщения. — А почему народный комиссариат? — Ах ты почемучка! — Ржавый не заметил, как поезд отчалил от света, суеты вокзала. За окном промелькнул огонек, другой и снова хоть глаз выколи. Наверное, холодно, страшно, бездорожно, вполне может быть, что шныряют волки, и вот сквозь ночь и страхи победительно летит, искрится золотым светом надежное купе. Вагон уютно подрагивает, зад приятно утопает в пружинах дивана, а Ржавый еще и подпрыгивает, чтобы получить полное удовольствие. Поезд, как гигантская сороконожка, деловито перебирает всеми своими колесами, ритмично стучит на стыках рельсов... Нет, Ржавый сам не захотел ездить в командировки, когда вырастет, не подумайте. Он был реалист и сознавал, что это не для него, а только для папы и вообще для избранных. Он на командировки не посягал. Но он был хитер и тут же решил стать проводником международного вагона. Такая жизненная цель неизвестно почему показалась ему более достижимой. Утром он даже терся возле проводников и осторожно пытался у них выяснить, как можно стать их коллегой, но они не сказали. Это его не обескуражило: понятно, такое нельзя рассказывать каждому встречному-поперечному, тем более ребенку. Ничего, надо подождать. Дорасти. — Дядя Володя в молодости был совсем другой человек, чем твой отец. Основательный. Литовский крестьянин. Каким-то образом попал на Украину, в восемнадцатом вступил в партию, воевал в дивизии Щорса, представляешь? Легенда. Был награжден именовым оружием. Помнишь, как ты испугался, когда он показал тебе свой наган? — Ржавый хорошо это помнит. У него были горы игрушечных пистолетов, заряжавшихся пистонами, пугачей, громко хлопавших специально продававшимися пробками, револьверов, стрелявших присосками. Однако когда он увидел в руках у дяди Володи темного матового металла наган, он вдруг понял, что это нечто совсем иное. Как бы передать его тогдашнее ощущение? Он понял, что это настоящее. Да, настоящее. Не было мысли, что это смерть, но стало безотчетно страшно. — Эх ты, храбрец, — ухмыльнулся Володя и спрятал наган. Вообще сам Володя и все вокруг него было какое-то особенно настоящее. — Детей у них не было, они очень любили тебя. Тетя Роза тоже вступила в партию. Когда мы жили в Одессе, Володя работал директором совхоза неподалеку, в Ильичевке, а когда мы переехали в Киев, он перевелся, опять директором большого совхоза, в Борисполь. Хотели жить поближе к нам. — Ржавый любил бывать у них. Летом просыпаешься под пенью петухов. Зимой в печках играет огонь. Опять то самое — настоящее. Небольшие окна сплошь забраны листвой и лучами морозных узоров. Надо куда-нибудь ехать — запрягается рыжая лошадка. Летом в бричку, зимой... Зимой в сани, снег из-под полозьев, какая радость! Едва ли не главным соблазном в этих гощениях был для Ржавого все же Буран. Не столько папина сестра Роза, и ее муж Володя, и ее родители — его дедушка и бабушка, и деревенское приволье, и рыжая лошадка, сколько могучая лютая немецкая

овчарка Буран. Володя уверял, что в нем четверть или даже половина волчьей крови. Мать его была овчарка Буря, а вот отец — волк или полуволок из зоопарка Уран. Ржавый то верил, то не верил и замирал от восторга. Володя едва мог устоять, когда Буран, поднявшись на задние лапы и положив на плечи хозяина передние, наваливался на него всем телом, норовя облизать лицо. От Бурана свирепо пахло псиной, Володя отшатывался, и оба в глубине души были в восторге. Суровая мужская дружба. Мальчика Буран шутя валил в снег толчком в грудь. Когда мальчик вскакивал, Буран улыбался огромной пастью с сахарно-белыми клыками и облизывался. Однажды вечером Ржавый вышел на крыльцо поиграть с Бураном. Мальчик обращался с ним запанибрата и чем-то досадил ему. Он опрокинул Ржавого на доски крыльца, с которого тот недавно смел снег. Ржавый весело поднялся. Буран снова легко сбил его с ног и при этом слегка заворчал. Мальчик не обратил внимание на ворчанье, а следовало. Не успел он встать на ноги, как Буран бесцеремонно повалил его еще раз, и тут до него дошло, наконец, ворчанье пса. Он увидел, что кончик носа у Бурана морщится, и обомлел. Он знал этот признак злобного настроения. Над ним стоял зверь. В глубине его глотки что-то клочкотало, нос морщился, подбирая в складки кожу по бокам морды, а под этими складками обнажались клыки. Такие, что лучше было их не видеть. Истинный собаковод. Мальчик открыл рот, чтобы крикнуть, но глухое клочкотанье в глотке Бурана усилилось, и крик тут же замер у Ржавого на губах. Буран многое понимал. Ему можно было дать спички и сказать: «Отнеси бабушке. Бабушке отнеси». Он осторожно брал коробок в зубы и, не обслюнявив, нес на кухню. Теперь он отлично понимал, что если мальчик крикнет, он, Буран, перестанет быть хозяином положения. Ржавый замер, и рычанье снова перешло в бульканье, словно бы глубоко в горле собаки кипел электрический чайник. Выждав, мальчик решил приподняться, но едва сделал движение, даже едва напрягся для движения, как Буран зарычал снова. Ржавый встретился с ним глазами. Мальчику показалось, что тонкие ниточки дрессировки лопаются одна за другой. Сейчас... Ржавый не столько по расчету, сколько инстинктивно распостерся на крыльце и замер. Зверь дышал над ним. Разило псиной. Выручил, конечно, Володя, который вышел взглянуть, не замерз ли племянник. После этого случая Ржавый уже никогда не фамильярничал с Бураном. Некоторая опасность осталась. Вскоре Володю перевели в Наркомзем Украины, он получил квартиру в Киеве, в тихом Михайловском переулке, а Буран, как объяснили мальчику, был мобилизован на границу. Он утешался тем, что теперь-то наша граница безусловно будет в неприкосновенности. Папа выпускал для него стенгазету. По вечерам, когда он ложился спать, папа читал маме вслух. Голос у него становился торжественно-испуганный. Мама слушала молча. Чаще всего повторялось слово «Вышинский», под него мальчик засыпал. То были взрослые газеты, а для Ржавого папа делал детскую, стенную. Она висела в его комнате, большая, яркая. Кое-что Ржавый вырезал и клеил сам. Тексты, не умея читать, со слуха выучивал наизусть. «Да здравствует мама, каких мало!», «Чаю чаю, без чаю завтрак не кончаю!» Папа сочинял: «Лето гуляем, лето живем, в войну играем, фашистов бьем. Днем из винтовок, ночью во сне

без остановок на рыжем коне». Зима вызвала новую поэму: «Рано утром-позднее Бусик уж дуду-трутру. Саблей подпоясан, в кобуре наган. Ай да Бусик! На весь мир самый славный командир. У Бусика в головке есть готовый план, и вот уж на веревке повис аэроплан. Покружился над столом и домой к себе кругом». Среди стихов и прозы на каждом листе стенгазеты появлялся вырезанный из какого-нибудь иллюстрированного журнала снимок овчарки. Портрет Бурана. Ржавый был уверен, что это его снова и снова фотографируют, когда он задерживает шпионов, диверсантов и контрабандистов. Впрочем, из-за папиной занятости, из-за его командировок стенгазета обновлялась редко. Ржавому не приходило в голову просить отца уделить ему больше внимания. Он был не такой, как другие. Что делает обыкновенный отец, когда портится свет? Ломает в темноте спички, чертыхается и чинит пробки. А его отец, когда портился свет, брал с книжного шкафа скрипку и играл до тех пор, пока свет не появлялся. Играл так, что щипало в носу, а Ржавый мечтал, чтобы свет не загорался как можно дольше. Валентина Марковна, парторг, однажды сказала отцу Ржавого, щелкнув по лацкану его пиджака желтым ногтем: — Вот увидишь, скоро у тебя здесь будет орден. — Сын же его был обыкновенный сорванец. Он поднимался на верхний этаж подъезда, потом сломя голову мчался по лестнице и звонил во все квартиры подряд. Вверху открывались двери, а он уже вылетал из подъезда и несся по улице. Почему-то он не принимал в расчет, что кто-нибудь может войти в подъезд и задержать его. Так и случилось: в конце концов он угодил в объятия хорошего знакомого. Он был готов ко всему, но поимщик засмеялся, погрозил пальцем и отпустил. Он безмерно удивился, а все объяснялось просто: его поимщик и сам в детстве был не прочь позвонить в чужие двери. — Той ночью Ржавый проснулся. Ему показалось, что толпа людей заполнила его комнату. Ему показалось, что его целует отец — дело почти неслыханное. Ему показалось, что его отец выходит из комнаты своей тяжелой неровной походкой. Но возле него никого не было. В темноте осторожно затворилась дверь, осталась лишь узкая рамка света, пробивавшегося из столовой. Оттуда доносились приглушенные голоса, шаги. Они переместились в переднюю, и Ржавый всполошился. Родители уходят, а он как же? Открылась и хлопнула парадная дверь. Стало тихо. Страшно. Но вот из передней в столовую вернулись мамины шаги, от сердца отлегло, и, счастливый, ни о чем больше не думая, Ржавый уснул, в последний миг увидев по бликам на потолке и услышав, как пролетает, брызнув в ночь огнями, черный, тихий, как сова, мотор. Сколько он ни пытался, став взрослым, представить, как провела остаток той ночи мама, — не мог. — А где папа? — спросил он утром. — Уехал в командировку. — Прямо ночью? — Прямо ночью. — А почему? — Ах ты почемучка. — А когда он вернется? — Надолго уехал, не знаю. — А почему стенных часов нет? Увез с собой? — Понимаешь, сыночек, пока папа в командировке, их некому заводить. Мы их перенесли в его кабинет. Нет, ты в кабинет не ходи, туда нельзя. Мы перенесли туда часы, еще кое-что лишнее, и его опечатали. — Как это опечатали? — Вот видишь: на двери две сургучные печати, а между ними веревочка. Их нельзя трогать. Понял? — Понял. Почему? — Так лучше. Не забудешь? — Не

забуду. Почему? — С папой нас было трое, и комнат три, а теперь нам столько не надо. — Какая-то странная командировка, — задумчиво сказал Ржавый. Его мама дала Щербаку денег и московский адрес Марочки. Щербак был дворник. Если надо было сделать что-то сложное в квартире, звали Щербака. Если во дворе разбивали клумбы, не обходилось без Щербака. Эстраду для любительского спектакля построил Щербак — не без помощи энтузиастов, конечно. Когда против каждого из четырех подъездов под деревьями появились грубо сколоченные столики с врытыми по обеим сторонам скамьями, где флиртовали, нянчили новорожденных, играли в шахматы и преферанс, хихикали и сплетничали, все знали, что их сколотил и врыл в землю Щербак. На Новый год, когда впервые разрешили ставить елки, дерево в подвальной квартире Щербака было от верхушки до крестовины увешано подарками его друзей и всего дома — пачками «Беломора» и шкаликами. Щербак обещал маме, когда ее арестуют, отвезти Ржавого в Москву к тетушке. Мама хотела, чтобы он избежал детдома для членов семей врагов народа. Однажды играли в жмурки. В просторный двор въехала эмка. Из машины вышли двое военных в ремнях, с кобурами на поясе. Хлопцы мигом оставили игру и облепили их. То игра, а это жизнь. Разница. — Ребята, где тут квартира семнадцать? — Сердце Ржавого встрепенулось от гордости. — Это моя квартира. Пойдемте, я покажу. — Не надо, мальчик. Только скажи, в каком подъезде. — В этом, во втором. На втором этаже. — Они вошли в подъезд. Ржавый победоносно оглядел друзей. — Чего радуешься? Они... — А ну заткнись, — крикнул Виля. — Скажешь хоть слово — дам по морде. Пошли за дом играть в жмурки. Все, — скомандовал он, оторвал малышей от машины и увел. Игра в жмурки была очень распространена в 1937 году. Мама сказала: — Теперь мы с тобой, сыночек, будем жить в столовой, а в твоей комнате поселятся другие люди, соседи. — Почему? — Они живут в подвале, им темно, а у нас две комнаты. Это несправедливо. Теперь одна нам, другая им, и станет справедливо. — А когда вернется папа? — Ты заболел, и я не могла пойти к отцу с передачей: иногда там приходилось ждать целый день. Пока шло следствие, разрешалось носить передачу раз в месяц, пропустить было никак нельзя. Я попросила отнести передачу Розу. Ты знаешь, как она любила папу. Гордилась младшим братом, таким ярким. Так вот, представляешь, она была так напугана, что наотрез отказалась. Видно, они с Володей обсудили это заранее, потому что она ответила сразу, без колебаний. Я не обиделась. Спешу домой, к тебе иду, иду по улице и реву. Люди смотрят, а я реву. — Как же ты устроилась, ма? — Иду и реву. — Мама уставилась в какую-то невидимую точку и сказала снова, в который раз: — Иду и реву. — После молчания: — Некоторые даже официально отказывались, через газеты. — Как это? — А так. Мы, такие-то и такие-то, глубоко возмущены и так далее. Они, сынок, проходили по делу (так это называлось) вчетвером: управляющий трестом кинематографии, его заместитель, папин директор Нечес и его заместитель, папа. И вот семья управляющего от него отказалась. Я прочитала об этом в газете и понесла передачу и папе, и ему, но ему не взяли. Оказывается, можно только чтобы родственники носили. Спрашивали: «Вы ему кто?» и записывали. И вдруг у него разби-

лись очки. Он носил какие-то толстые стекла. Даже и в них видел неважно, все время вытягивал шею и наклонял голову набок. Адвокат сказал, что очки разбились во время допроса. А на суде ему надо будет читать важные бумаги. Сказал, что он просит меня заказать ему очки. Я стала бегать, таких стекол нигде нет. Обошла все оптики, осталась последняя, на углу Третьего Интернационала и Саксаганского, знаешь? Поехала после работы, вышла из трамвая, дело к вечеру, я без сил. Спрашиваю: есть? А у самой сердце замирает. Нет, говорят, нет. А завтра в девять уже суд. И тут я снова разревелась, как девчонка. Стыдно, прямо среди людей, а остановиться не могу. Сотрудники переполошились, отвели меня в какую-то комнатку, налили капли, успокаивают, расспрашивают. Я все рассказала. — Посидите, — говорят, — успокойтесь. — Часа через два, к закрытию, дают очки. Я опять заплакала. Не помню, сказала ли спасибо, заплатила ли. Бросилась к адвокату. — Ма, как же Роза могла отказать? Я все-таки не понимаю. — Розу не осуждай. Тоже натерпелась. Как-то под утро звонят в дверь. Они с Володей, понятно, проснулись, но открывать не спешат. Снова длинный звонок. — Вовочка, вставай, что делать, надо открыть. — Не могу, — отвечает щорсовец, член партии с восемнадцатого или там еще более раннего года, награжденный именованным оружием. — Не могу, — говорит, — боюсь. Открой ты. — А в дверь уже колотят кулаком. — Я тоже боюсь. — Наконец Володя натянул галифе и открыл. — Ну и спите же вы! Насилу добудилась. Вам телеграмма. Распишитесь. Здесь. Время поставьте и число. Пять часов. Седьмое. — Володя возвращается в спальню, сказать ни слова не может и только протягивает Розе бланк. **СРОЧНАЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ УСПЕХОВ ЗДОРОВЬЯ ГРИША ЛИЗА.** Еще до этого Ржавый пошел в первый класс. Мама выбрала самую лучшую школу, устроилась туда работать и возила его через весь город. На праздничном утреннике он уже самозабвенно декламировал: «Мне Мария Демченко — сестрица, Алексей Стаханов — старший брат». — А когда Ржавый кончил четвертый класс, началась война. — Как там на границе Буран? — была его первая мысль. Володя уже надел командирскую форму. Она сидела на его довольно полной фигуре буднично, совсем не воинственно. В представлении Ржавого он был таким же настоящим, как его именной наган, а тут в его лице какие-то черточки дрогнули. Дрогнули жалостью ко всем, кого он оставлял перед лицом сорок военного года. Он сказал: — Буран исполнил свой долг. Теперь мы исполним свой. — И ушел на четыре года. В следующий раз Ржавый увидел его в тысяча девятьсот сорок пятом в мае, девятого числа.

3. СУЕТЕН ОН БЫЛ

О детство! О школы морока!

Б. Пастернак

Басы, баритоны, тенора мужского хора звучат то гармоническими аккордами, то диссонансами.

Баритонами гудят «Юнкерсы-87». Оживленно хлопают теноровые подголоски зениток. Их перекрывают басы бомб.

Контрапункт ночной бомбежки.

В гигантском концертном зале темно и страшно. Идет воздушный налет на Фастов. Эшелон вагонов третьего класса, едва покинув Киев, завяз здесь всеми своими колесами.

За окном становится светло, и вагон вдруг вздрагивает от злобного взрыва. Это уже бас профундо. Звенят и хрустят стекла.

Ржавый сжимается в комок на узле с вещами между лавками. Пряжка от дорожных ремней впиалась в голень, однако он не смеет изменить положение тела, чтобы не привлечь внимание фашистских летчиков.

— Рядом, — произносит кто-то.

— Вагоны с боеприпасами рвутся, — прибавляет другой.

Где-то в темноте приткнулась мама. Он ее не видит и не слышит. Хочет позвать и стесняется, чтобы не подумали, что ему страшно. Потому что ему страшно, как никогда в жизни.

Он пытается уговорить себя: судя по звуку моторов, самолеты удаляются. Но у него ничего не выходит: одни вроде бы правда уходят, но другие зато приближаются, а третьи висят прямо над головой. Он мысленно произносит:

— Аптекман. Афонин. Баевский. Беспалова. Береговская. Бернштейн. Белоцерковская. Болотова. Бортник. Боровский. Бочковская. Бродская. Варшавская. Винницкий. Высота. Галак. Гопчак. Диброва. Дубровская. Жанжерова. Зигенфельд. Караченцева. Кармазина. Косухина. Лакштанов. Луканцевер. Летичевская. Мишурá. Мороз. Машинский. Новикова. Полстянко. Прицкер. Пхакадзе. Рейзельман. Рейзельман. Свердлик. Сироченко. Табачук. Фукс. Цейтлин. Чернощек. Чугунова. Чудная. Шкробко. Эдельштейн. Яхнис.

В минуту смертельной опасности одиннадцатилетний мальчик сидит, скрючившись на узле с вещами, металлическая пряжка врежется ему в ногу, а он сосредоточенно повторяет как заклинание, как молитву, алфавит фамилий.

Становится легче, страх немного отпускает.

Вы догадались? Это список класса, в котором он учился между знаменательными тысяча девятьсот тридцать седьмым и тысяча девятьсот сорок первым годами в сорок пятой киевской образцово-показательной школе на благоуханной улице Короленко, недалеко от университета. Короленко семьдесят, школа сорок пять. В самом поступательном движении фамилий, упорядоченных по алфавиту, есть что-то успокаивающее. Это тоже опора. Ржавый запомнил перечень учеников в определенном ритме, с незначительными отклонениями от строгого алфавитного порядка, с близнецами Рейзельманом Изей и Рейзельман Ритой — точно так, как он был записан в классном журнале и читался при переключке в начале урока.

Однажды он с женой шел по этой самой улице, которая называлась, впрочем, уже не Короленко, а Владимирская, в память о князе, некогда крестившем Русь в водах Днепра. Правда, благородный писатель Короленко тоже носил имя Владимир и по своей добродетельной, подвижнической, жертвенной

жизни вполне мог почитаться святым, так что при желании можно было думать, что ничего и не изменилось. Деревья жмурились на весеннем солнце. Его остановил человек:

— Извините, вы не учились в сорок пятой школе?

— Учился.

— Я вас узнал. Вот здорово. Мы с вами подрались первого сентября тысяча девятьсот тридцать седьмого года, и нас сразу отвели к директору. Еще был такой крупный мужчина, помните? Как я рад встрече!

— Я тоже рад.

По правде, Ржавый был рад значительно меньше. Когда в его первый школьный день, на первой в жизни перемене учительницы их растащили, подняли с паркетного полу и поставили на ноги, оказалось, что в первой школьной драке Ржавому пришлось несладко. А к директору тотчас вызвали его маму, которая работала школьным врачом. Что было дальше, лучше не вспоминать.

Во время войны школьные документы сгорели, и список класса остался только в архиве его памяти. При редких встречах с соучениками он поражал их цирковым номером: вызывал из далекого прошлого одну за другой сорок семь личностей с их портфелями, заботами, странностями, маленькими происшествиями. И начинается:

— А помнишь, на медосмотре у врача? Доктор говорит сестре: «Смотри, какая милая девочка. Как тебя зовут?» — А она отвечает: «Мила». — «Ах, какая чудная улыбка! А фамилия твоя как?» — «Чудная».

Хватает на целый вечер.

А над всеми воспоминаниями стоит облик единственной и неповторимой Анны Лукьяновны.

Они росли воинствующими безбожниками. С энергией, которой хватило бы, чтобы осветить небольшой город, вели среди бабушек антирелигиозную пропаганду. А между тем с настоящим религиозным поклонением относились к своей учительнице. Высокая, худощавая, прямая, седая, всегда расчесанная на прямой строгий пробор волосок к волоску, она олицетворяла для них науку, родину, справедливость, требовательное чувство долга и другие самые сложные понятия их духовной жизни.

Они знали, что их Анна Лукьяновна Беляновская — Заслуженная учительница школ УССР, и гордились этим. Им рассказали, что поседела она после смерти мужа за одну ночь, — они гордились и этим. Почему-то они понимали, что это заслуживает уважения — поседеть после смерти мужа в течение одной ночи и прийти на работу с незаплаканными глазами, белой, еще более худой и еще более прямой, чем прежде.

Они с товарищами гоняли по дворам, шалили, зачитывались «Золотой петлей» Джемса Оливера Кэрвуда, «Хрустальной пробкой» Мориса Леблана, «Владыкой Марса» Бэрроуза и горячо обсуждали приключения предприимчивых охотников за волками, благородного преступника Арсена Люпена и Джона Картера, джентльмена из Виргинии, неизвестно как очутившегося на красной планете Марс, добывали где могли эти книжки с маркой издательства ЗиФ, то есть «Земля и фабрика». А Анна Лукьяновна незаметно для своих учеников

выдвигала нравственные императивы, которые понемногу входили в их сознание и заставляли взрослеть.

Учителя толпами ходили к ней на уроки, более молодые, чем она, мамы ее воспитанников советовались с нею по поводу крутых обстоятельств своих нелегких жизней, любое ее распоряжение исполнялось и детьми, и родителями как воинский приказ в боевой обстановке.

Пока Ржавый получил аттестат зрелости, ему пришлось переменить десять школ, дневных и вечерних. Но его класс — подлинно его — был единственный, тот самый первый А, в который он пришел первого сентября тысяча девятьсот тридцать седьмого года, где он нашел закадычных друзей, где Анна Лукьяновна научила его читать, писать, показала разные хитрые приемы устного счета и посадила за одну парту с его будущей женой.

Он распрямляется. Фуга налета звучит диминуэндо. Вскоре вовсе смолкают басы, за ними баритоны. Наконец, и тенора. На лавках и полатах вагона шевелятся люди. Ржавый меняет позу и избавляется от проклятой пряжки. Вдруг его бросает, и он ударяется головой о полку. Поезд рывкает, дергается вперед, катится, словно нехотя, минут десять, останавливается снова. Опять рывкает, и в темноте Ржавый ударяется о другую полку.

— Вот тебе и на, обратно поехали, — разочарованно тянет женский голос.

— На стрелках маневрирует, — авторитетно поясняет мужской.

— Маневрирует. Маневрирует, — с надеждой проносится по вагону на разные лады.

Как петухи перед рассветом, перекликаются паровозы.

— Слышь, полезли наверх, — толкает Ржавого Дорик.

— Все занято.

— На самый верх, на багажную полку, — шепчет Дорик. — Только тихо, а то поднимут шухер.

Ржавый лезет вслед за ним. Дорик в темноте двигает чемоданы, и мальчишкам на двоих высвобождается целая полка. Не такая, как те, что изначально предназначены для лежания, а в полтора раза уже, но в переполненном вагоне и она — роскошь.

Ржавый перегибается вниз и заглядывает в окно. Почему-то довольно светло, светомаскировка, видно, не соблюдается, мечутся фигуры. Он подает голос:

— Ма, я здесь.

— Ты як туды залез? Дэ мои рэчи? Рэчи дэ?

Чей-то визгливый голос взлетает под потолок на истерических интонациях.

— Та е ваши клумки, — рассудительно говорит Дорик, а сам дает Ржавому пинка, чтобы он помалкивал. Он на три года старше. — Тут ребенок, а он вещи, вещи. Не съедят их.

— Дориан, — с упреком говорит Галина Маркиановна, его мама.

— А чего он хай поднял со своими вещами, если тут ребенок? За барахло испугался. Рэчи, рэчи. Как ляпнет бомба, будут ему рэчи.

Визгливый хозяин вещей сконфуженно молчит. Полка, похоже, отвоевана. Поезд снова понемногу тянет вперед.

— Дорик, а почему нет светомаскировки?

— Балда, это пожар. Состав на соседнем пути горит. Вот прилетят снова, так дадут жизни.

Сквозь реденькое постукивание колес доносятся тревожные прерывистые гудки паровозов. Сквозь гудки уже несется гул проклятых моторов. Ему то и дело сопровождают аккорды взрывов.

Но все это явно остается позади. Кажется, поезд выпутался из полуразбитых дорог, туго-натуго завязанных железным узлом. Он постепенно прибавляет ходу навстречу набегающему издалека новому дню. Тромбоз предотвращен. Мощный паровоз со своими вагонами по капиллярным сосудам железнодорожных веток вырывается наконец на магистраль. Дороги гонят венозную кровь составов с запада на восток и артериальную кровь воинских эшелонов с востока на запад. Чья-то воля подчиняет его себе и выталкивает поезд за горящие пакгаузы, разбитые стрелки и семафоры. У грозного хора был-таки невидимый дирижер. Ржавый испытывает прилив благодарности к нему, неведомому, но могущественному.

— Благодарю тебя, Господи, за то, что Ты есть, и за все то, что Ты для меня сделал, — вдруг восторженно шепчет он неизвестно откуда взявшиеся слова. Хор сменяется однообразной колыбельной песней.

— Баю-бай. Баю-бай. Баю-бай. Баю-бай.

Вагон покачивает новую колыбель — багажную полку.

— Баю-бай. Баю-бай. Баю...

Когда Ржавый просыпается, в полуразбитое ночью окно светит не пламя пожара, а солнце. Отсутствующая часть стекла заменена картоном или фанерой, не разобрать. Пассажиры рассосались по вагону, и целое отделение занимают его мама, Галина Маркиановна с младшим сыном, годовалым Яриком, седая дама, ее дочь средних лет и они с Дориком. Лафа. За окном луг. Поезд, томно изогнувшись, вписывается в поворот и целую минуту самодовольно любуется собой. Он виден весь: от паровоза до последнего вагона.

Из коридора заглядывает Элла Кармазина. Как второе солнце. Заглядывает и идет своей дорогой. Может быть, она даже перепутала чужое отделение со своим.

Если читатель заметил, ее фамилия значится в списке класса Анны Лукьяновны. Пока учились вместе, она никак не интересовала Ржавого. Из всех девочек он поддерживал отношения только с соседкой по парте. В числе гражданских доблестей, которые воспитывала Анна Лукьяновна, было требование работать самостоятельно. Во избежание списывания детям надлежало во время урока прикрывать свою тетрадь от соседа промокашкой. Анна Лукьяновна — что делать? — была человеком своего времени. Заслуженная учительница, она воспитывала в своих учениках бдительность. Еще она внушала, что нехорошо ябедничать.

— Доносчику — первый кнут.

Вместо этого, учила Анна Лукьяновна, следует поднять руку, встать и громко перед всеми обличить нарушителя порядка. Это поможет ему исправиться.

Немногочисленные педагогические ошибки Анны Лукьяновны корректировала высшая инстанция — сама жизнь. Инстинкт говорил Ржавому, что

публичный донос не перестает быть доносом. Но он преклонялся перед своей учительницей. Однажды он заглушил голос совести, поднял руку, встал и громко объявил о каком-то прегрешении двух соучеников. Неизвестно, помогло ли это им исправиться, как предсказывала Анна Лукьяновна. Только после уроков чуть ли не все мальчишки класса, в том числе и друг из друзей Ленья, подстерегли Ржавого на улице и задали ему хорошую трепку.

Зато он никогда не закрывал, как другие, свою тетрадь промокашкой. Он просто проводил мелом строго посередине парты и скамьи демаркационную линию, которую соседке запрещалось пересекать. Она в негодовании отодвигалась на краешек скамьи. Тогда он сам пересекал границу, стирая ее штанишками и рукавом, и норовил столкнуть соседку на пол.

Вы спрашиваете: а что же Анна Лукьяновна?

Под ее взглядом никому бы — не только детям, но и их родителям — не пришлось бы в голову делить парту мелом или сталкивать друг друга на пол. Смеем вас уверить. Но украинский язык, рисование и пение преподавали другие учителя. Уже оттого, что они были не Анна Лукьяновна, независимо от их качеств, их третировали. Список, сохранившийся в памяти Ржавого, свидетельствует, что в классе было сорок семь учеников. Анна Лукьяновна управляла огромным классом без видимых усилий, но другим это было нелегко.

Штанишки, которыми Ржавый стирал демаркационную линию, доходили ему до колен. Тогда они не назывались, как теперь, шортами. А дома, между тем, где-то у мамы хранились его длинные взрослые брюки, но носить их полагалось лишь в самых исключительных случаях. О джинсах не было и помину. Нынешние колготки, кстати, назывались рейтузами, что сильно снижало их статус.

С собою в эвакуацию было разрешено взять столько, сколько можно унести в руках. Для Ржавого и его мамы это означало в сущности ничего. Они просто поднялись и ушли, не закрыв за собою дверь, из квартиры, полной книг и быта. Через месяц от нее не осталось и стен: в дом попала бомба.

Но длинные черные брюки со складкой лежали в узелке с одеждой, который нес Ржавый.

Вторая мировая война была в разгаре, рушились государства, шли на дно линкоры, разбивались самолеты, люди живьем горели в танках и эшелонах, задыхались в газовых камерах лагерей уничтожения, гибли и сдавались целые армии, родные и близкие ушли на фронт — а Ржавого занимали длинные брюки. Суетен он был.

И теперь, увидев в вагоне Элли Кармазину, он решает непременно предстать перед ней в это грозное время истинным мужчиной в длинных брюках. Он дожидается, чтобы мама вышла в коридор, и мигом переодевается.

Поезд замедляет ход.

Мама возвращается и говорит ему и Дорику:

— Мальчики, сейчас будет станция, сходите за кипятком. Только осторожно, не отстаньте от поезда.

Ржавый замирает. Она скользит взглядом по его брюкам, но ничего не говорит. Он вываливается в коридор и отправляется по вагону искать Элли. На беду, ее нигде нет. И тут он понимает, что поезд уже некоторое время стоит на

месте. Он замечает, куда устремляется основной поток людей, и отправляется за кипятком, размахивая эмалированным чайником. Одновременно поглядывает по сторонам, не оставляя надежды все-таки поразить Элли своими брюками.

Во время той войны миллионы людей целенаправленно ехали и потерянно скитались по железным путям потрясенной страны. И на каждой станции можно было подойти к крану, расположенному на самом видном месте, и бесплатно набрать котелок или чайник — сколько надо — кипятку. А кипяток в те времена повальной голодухи спасал, бывало, жизни. Ни белков, ни жиров, ни углеводов, ни калорий в нем нет, а выпьешь его и, глядишь, — взбодрился. Солдат, следующий на фронт, беженец, пассажир, вынужденный пробираться, да не один, а с детьми, скажем, из того же Кустаная в Ашхабад с мучительными пересадками в Челябинске, Оренбурге и Ташкенте — каждый припадал к этому животворящему источнику. Вспомним его с благодарностью.

Едва Ржавый пристраивается в хвосте толстой очереди, как вокзальный громкоговоритель объявляет отправление. Все кидаются к вагонам. В их отделении Галина Маркиановна разливает кипяток из большого чайника по чашкам и кружкам. Она делает это неторопливо, с таким же спокойным достоинством, как если бы угощала друзей у себя дома за круглым столом под абажуром цвета солнца.

— У тебя даже кипятку не допросишься, — говорит в сердцах мама. — Лишь бы длинные брюки надел. А ну переоденься сейчас же.

Ржавый понимает глубокую правоту мамы. Первый же экзамен на мужичину провален. За полсутки быт предельно упростился. Он беспомощно оглядывается кругом, надувается, тут же, среди женщин, снимает брюки, остается в мятых желтых трусиках и тянется за треклятыми короткими штанишками.

В этот миг по коридору проносится Элла, зыркает в их отделение, приостанавливается, охватывает взглядом его и его жалкие ржавые трусы и величественно шествует далее.

Он лезет на багажную полку. Там уже ждет Дорик.

Всю дорогу из Киева в Кустанай (она длилась неделю) Ржавый и Дорик играли в шахматы партий по двадцать в день. Всю дорогу (она длилась неделю) Ржавый проигрывал столько партий, сколько они играли. В каждой партии он сперва мечтал наконец-то выиграть, потом цеплялся за надежду на дорикин зевок, а кончал горьким разочарованием, сдачей за несколько шагов до мата. Двадцать раз на дню он переживал с трудом сдерживаемые взрывы отчаяния.

Как он ни погружен в игру и в свои переживания по поводу кипятка, брюк, Эллы, он вдруг ощущает, что настроение в вагоне изменилось. Что-то видит краем глаза, что-то слышит краем уха, что-то понимает краем сознания.

— Наш.

— Немец.

Настораживается Дорик. Необычную скорость набирает поезд. Ржавый отрывается от доски и фигур, смотрит вниз.

Обитательницы купе и два-три гостя глядят в окно. Позы неудобные, у некоторых смешные, но почему-то не смешно. Взгляды устремлены в одну

точку, головы медленно и синхронно поворачиваются, как будто кто-то тянет их за невидимые веревки. Лица какие-то не такие. Ржавый ничего не может понять. А Дорик уже спрыгнул вниз, тоже посмотрел в окно и говорит:

— Немец.

— Наш.

Это неуверенным голосом произносит мужчина в толстых очках.

Мама быстро оглядывается, встречает взгляд сына и снова обращается к окну.

Ржавый скатывается вниз.

В окне, в значительном отдалении, не очень высоко и совсем мирно висит самолет. Нет, он не висит. Он скользит по синеве, медленно обгоняя эшелон.

Состав резко замедляет ход.

— Ох, сыночек, млостно мне, — едва слышно жалуется мама. — Ох, млостно мне.

В ее глазах — смертная тоска, вчерашний ночной Фастов, беспорядочные взрывы, пожар, летчик, который разворачивает свою машину, бросает ее на поезд, прямо на ее вагон, метко сбрасывает бомбу, прошивает то, что осталось, огнем пушек и пулеметов, удовлетворенно ухмыляется. И вот уже ни мамы, ни ее сына, ни Галины Маркиановны, ни Ярика, ни Дорика, ни мужчины в толстых очках, ни Эллы Кармазиной. Месиво. Мама смертельно устала бояться за сына и за себя, служить беззащитной дичью для беспощадных охотников.

Кажется, что в эти последние мгновенья неуклюжий поезд ищет возможность сойти с рельсов, юркнуть в травы и зарыться в них.

Зажимать бы в ладонях трепещущие рукоятки зенитного пулемета. Подносить к зенитке гладкие продолговатые снаряды, вспыхивающие в голубом небе белыми нарядными облачками разрывов. Направлять штурвалом истребитель прямо в тупое рыло фашиста.

Самолет обгоняет поезд и скрывается из поля зрения. Становится, если только это возможно, еще хуже. Беженцы даже не узнают, когда именно он пойдет в атаку.

Эшелон нервничает, снова рывками ускоряет ход.

— Лучше бы остановился, мы бы отбежали подальше в поле.

— Так он вам и даст бежать. Полный вперед, авось проскочим.

— Проскочишь, как он путь разворотит.

— Эх, на ходу надо прыгать.

— Остановиться бы. Может, он и не заметит, если будем стоять на месте.

— Он же впереди, надо дать полный задний ход.

— А сзади, скорее всего, другой эшелон.

— Эх.

Тут Ржавый случайно замечает, что на нижней полке в углу, со стороны полуразбитого окна, заделанного картоном, в тени сидит старая седая дама. Мария Осиповна (как он уже знает) совершенно бесстрастно слушает все разговоры. Она одна не глядит в окно, она абсолютно спокойна, и ее спокойствие передается соседям. А что в самом деле?

Их спокойствие передается поезду. Ход его становится ровнее. Мама застегивает пуговицу на рубашке сына и поправляет ему волосы: она любит, чтобы лоб ее мальчика был открыт.

Человек в очках отрывается от окна и обращается к Галине Маркиановне:

— На сей раз наш Ноев ковчег выплыл.

— На то он и Ноев ковчег, — улыбается Галина Маркиановна. — Ему и положено выплыть во время всемирного потопа.

В щели окна сладко тянет дымком паровоза. Ржавый пытается воспользоваться благоприятной минутой:

— Ма, можно я длинные брюки надену?

— Чтобы у тебя и в мыслях этого не было.

Мальчики забираются на багажную полку и расставляют фигуры. Деревяшки все время съезжают со своих мест из-за тряски. Ржавый ловко разыгрывает дебют, у него явное преимущество. Наконец-то он выигрывает. Дорик предлагает размен слонов. Он соглашается. Делает ход и с ужасом видит, что отдает-то Дорик своего одного слона, а забирает его обоих.

— Классная покупка, — злорадно комментирует Дорик.

Ржавому остается уповать на чудо. Но Дорик играет точно, и приходится сдаться.

— Еще? — спрашивает Ржавый деланно безразличным тоном. Он азартен. Он жаждет реванша.

— Давай, — так же отвечает Дорик.

Шахматисты в который раз расставляют фигуры, и все повторяется.

— Мальчики, скоро станция. Принесите кипятку, а? Смотрите только не отстаньте.

Ржавому необходимо отличиться, он впереди Дорика вылетает в коридор, размахивая своим чайником, и голыми коленками буквально натывается на Эллу. В свежем пышном платье она благонаравно сидит в коридоре на чемодане и читает «Тилия Уленшпигеля». Когда она дозарезу нужна, ее нет как нет, а тут расселась. Он исподтишка лягает ее, выскакивает на перрон, пристраивается к небольшой цепочке людей перед краном с кипятком.

Дорика нет. Кажется, на этот раз Ржавый его обскакал. Он беспокойно поглядывает то вперед, то на поезд. Подходящие люди как-то обтекают хвост очереди, она почти не подвигается, а вместо этого постепенно деформируется в толпу.

Все же Ржавый оказывается в пяти человеках от цели. По радио объявляют отправление. Он лучше отстанет от поезда, умрет, а без кипятка не вернется. Перед ним четверо и еще какое-то небольшое завихрение из красноармейцев и людей в гражданском. Паровоз протяжно ревет. До крана трое, они нервничают, толкаются. Из завихрения вырывается льняная прическа Дорика, за нею он сам. Он находит глазами Ржавого, подмигивает и быстро направляется к вагону, осторожно неся очень горячий чайник.

— Сейчас тронется, — говорит кто-то.

Пускай трогается, Ржавого это не касается. Очередь за его спиной разваливается.

— Жми, оголец, а то останешься.

Между ним и краном двое. Поезд лязгает буферами и медленно отходит.

Он несется к составу и успевает поймать поручень и подножку своего вагона. Его втаскивают на площадку.

Как побитая собака, пробирается он между чемоданов и узлов к себе. С обоих концов вагона тянет запахом уборной, из отделений, мимо которых он проходит, — одеколоном и духами. Галина Маркиановна радушно разливает по кружкам и чашкам вкусный дымящийся кипяток. На него деликатно не смотрят. Мама выразительно вздыхает. Он молча лезет под потолок на свою полку.

Внизу заваривают чай, хрумят пиленым сахаром и сухарями, оживленно разговаривают.

— Баю-бай. Баю-бай. Баю-бай. Баю-бай.

Он отказывается от чаю, сахару, сухарей, от оживленных разговоров и лежит в своей колыбели носом к стене.

За окошком на-шиммм тихо стооонет сту-жа.
Намело сугроо-бы у наа-шево крыль-ца.
Мама не верне-тсЯ. Мама люуубит му-жа,
Староваа, седо-ва тваа-ево от-ца.

Давным-давно, две жизни тому назад, у родителей была пластинка Вертинского. С одной стороны «Сумасшедший шарманщик», с другой эта песенка. Папа называл ее «Запутанное родство». Нередко пластинку клали на диск патефона, еще чаще папа напевал песенки сам, удивительно удачно имитируя Вертинского. Ржавый ничего не понимал в содержании песенок, да и не вдумывался в него, знал обе песенки наизусть, и когда слушал их или вспоминал, то хотел плакать. А когда хотел плакать, то вспоминал песенки.

За окошком на-шиммм тихо стооонет сту-жа.
— Баю-бай. Баю-бай, Баю-бай. Баю-бай.
Намело сугро-бы у на-шего крыльца.
— Баю-бай. Баю-бай. Баю...

В сонное сознание Ржавого входит:

— Волга.

Ну Волга, подумаешь.

— Волга.

Волга так Волга. Пускай себе.

— Волга.

Интересно, «Волга» от «волглая», «волгла», «влага», так? Очень много влаги, воды? Спрошу у Анны Лукьяновны, она учит вдумываться в каждое слово.

— Волга.

подавитесь вы своей Волгой. Пристали.

— Волга.

Он делает кому-то великое одолжение и свешивается с багажной полки.

Поезд летит по воздуху над морем.

Так вот что такое Волга.

Голубовато-белесоватый, с сиреневым отливом воздух, горячее солнце, далекая рябь, синие полосы глубин и желтоватые отмели — оказывается вот что называется Волгой.

Полет по воздуху над красотой — вот что такое Волга.

Надо мною небо и небо.
Подо мною вода и вода.
По мосту над водой то и дело
Поезда. Поезда. Поезда.

Сам того не понимая, Ржавый сочиняет стихи. Это не он придумывает, их сложила Волга.

В окне мелькает будка и фигура часового. Пырей. Осока. Деревья. Эшелон со всеми пассажирами благополучно совершил перелет, приземлился и снова катит по земле.

Ржавый с удивлением повторяет новое стихотворение. Его не было, теперь оно есть. Его написала Волга. Им, Ржавым.

Он тоже сочинял стихи. У дворника Щербака была белая собака Найда, такая же добрая и надежная, как он сам. Ее образ не потускнел в глазах пацанов, когда во дворе появился брюнет доберман-пинчер Тобик. Рядом с Тобиком всегда видели высокую стройную серьезную темноволосую девушку Валу, его хозяйку. Они удивительно подходили друг к другу.

Хлопцев беспокоило, как поладят между собой дворняга и доберман-пинчер, но они сразу же подружились. И вот однажды светлый летний вечер томно поглядывал анютиными глазками, с клумб несся сладковатый запах матиол, густой клейкий аромат лип был ощутим прямо на ощупь, во двор высыпали дети и взрослые, из открытых окон, сквозь крученный паныч, оплетавший балконы, летели разные шумы, и среди них определился ритм фокстрота: Та́-та, та-та́-та, та-та́-та... У кого-то играл патефон. Под эту пластинку Ржавый вдруг заорал от избытка чувств:

Найда варила картошку,
Тобик пошел за вином,
Найда подставила ножку,
Тобик упал кувырком та-ри-ра...

Его сверстники тут же подхватили:

Найда варила картошку...

Всем стало весело. Патефон замолк, и кто-то из женщин замурлыкал:

Найда подставила ножку,
Тобик упал кувырком та-ри-ра...

Часть первая. *СОБЫТИЯ*

Теперь трудно установить, было ли официально признано авторство Ржавого, но и без того он познал сладость успеха.

К великому сожалению, как сейчас увидит читатель.

В четвертом классе, за полтора месяца до войны, Анна Лукьяновна задала своим воспитанникам урок — описать Первое мая. Человек двадцать, если не больше, получили отлично. Вообще половину населения ее класса составили твердые отличники. В конце учебного года всех их фотографировали под красным шелковым знаменем с золотым гербом и золотым наконечником. Умела Анна Лукьяновна, умела. Чтобы выделить лучших из лучших, она за сочинения поставила несколько отлично с плюсом. Тут она совершила серьезную педагогическую ошибку, поставив отлично с плюсом и Ржавому. За сочинение, написанное чудовищными виршами. Его восторг перед военным парадом, который он наблюдал с плеча дяди Володи, не влез в грубую прозу. Под напором чувств он обратился к возвышенной поэзии. Опыт с Тобиком и Найдой у него был. Кульминацией описания стали величественные строки, в которых он воспел, как ему показалось, всю непобедимую мощь Красной Армии:

Ехали танкетки!
Шли мотоциклетки!

Эти-то танкетки-мотоциклетки были оценены сверхбаллом отлично с плюсом. Повторяю, тут была допущена катастрофическая ошибка. Но и ее довольно скоро исправила жизнь.

Придя домой, Ржавый вместо того, чтобы обедать и делать уроки, взял чистую тетрадь, почему-то перевернул ее задом наперед и вниз головой и стал слагать поэму о борьбе Петра Первого со шведами. Сначала написал:

То было время, время роковое,
Как буря, двигались шведские полки,
Но Петр войско выставил большое,
И под Полтавой шведов встретил он в штыки.

Победоносная армия Петра Первого была для него прямым продолжением нашей Красной Армии, которая только что, можно сказать, на его глазах героически освободила Западную Украину и Западную Белоруссию, наголову разбила упрямых белофиннов. Он просто пылал вдохновением:

А Карл в коляске в это время
Свои шеренги объезжал,
А русские готовились к сече,
Которой мир доселе не видал.

Получается! Ура!

И злобясь видит Карл могучий
Уж не расстроенные тучи

Глава вторая. *Ржавый*

Несчастных нарвских беглецов,
А нить полков блестящих, стройных,
Послушных, быстрых и спокойных,
И ряд незыблемых штыков.
Тесним мы шведов рать за ратью,
Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.

Ржавый чувствовал, он точно знал, что это прекрасные стихи, и побежал на кухню за похвалами. Мама сказала:

— Это же не ты написал, а Пушкин.

— Нет, я.

— Что ты, глупенький, это стихи Пушкина.

— Нет, мои.

— Самое начало твое, а дальше Пушкина. Все знают, что он написал «Полтаву».

— Это я написал, а не Пушкин. Смотри, видишь? Почему же не я? Это же моя тетрадь. Мой почерк. Вот. И клякса моя. А ты всегда, ты всегда, ты всегда.

Он твердо был убежден, что это его стихи, а мама почему-то не хочет их ему отдать. Он их не переписал из книги, а нашел у себя в голове. Как они туда попали, ребенок не понимал и себя не спрашивал. Создание другого поэта мама, скорее всего, временно уступила бы сыну, но с Пушкиным у нее были особые отношения. Дело в том, что они родились в один и тот же день, Пушкин и мама, только мама ровно на сто лет позже. Это чисто внешнее, случайное обстоятельство заставило и ее, и всех окружающих смотреть на нее чуть ли не как на наследницу и хранительницу его славы. Блеск пушкинского имени каким-то образом озарял и золотоволосую мамину голову. Ее день рождения и день рождения Пушкина в семье — пока была семья — праздновались в равной мере. «Песнь о вещем Олеге», «Руслан и Людмила» и многое другое читалось сыну задолго до того, как он мог это понять. Скорее всего, с пеленок. На вырост. Взрослые неумело прятали полуулыбки, когда трехлетний карапуз самозабвенно выкрикивал:

Выпьем! С горя!! Где же!!! Кружка!!!!
Сердцу! Будет!! Веселей!!!

Мама непримиримо отстаивала труд Пушкина перед сыном, не ведавшим понятия о литературной собственности. Может быть, она боялась, чтобы он своим плагиатом не опозорился перед той же Анной Лукьяновной. Одним словом, вышла крупная ссора, причем добрая, вспылчивая, темпераментная мама Ржавого превысила предел необходимой обороны.

Такой ценой педагогическая ошибка Анны Лукьяновны была исправлена.

Новое стихотворение, сочиненное то ли им, то ли Волгой, то ли еще кем — кто его теперь знает? — Ржавый на всякий случай маме не сообщил. Вдруг она скажет, что и это Пушкина.

— Дорик, скоро станция, принеси кипяточку, а?

Когда станционное здание подходит к вагону, дергается и останавливается, все население отсека, кроме Марии Осиповны, высыпает на платформу. Ржавый спускается с третьей, багажной полки на чью-то вторую. За окном оживление, снуют люди. Возвращается Дорик, весело подмигивает, ставит чайник на приоконный столик. Как только он это сделал, Ржавый без звука прыгает ему на плечи. От полной неожиданности этого нападения Дорик падает и гулко ударяется головой о стенку вагона. Ржавый восторженно работает кулаками, ногами, зубами. Он счастлив, наверное, целую минуту. Чайник с кипятком летит на пол, никого не обжигая. Потом Дорик приходит в себя и тычет открытой ладонью в лицо Ржавому. Тот отлетает к противоположной стене, плюхается рядом с Марией Осиповной. На рубашку капает кровь.

— Ты что, сдурел? — интересуется Дорик. Он принимается вытирать лицо Ржавого каким-то полотенцем.

Приходят Галина Маркиановна с Яриком, дочь Марии Осиповны и мама. У Дорика на лбу ссадина, на затылке шишка, рукав рубашки наполовину оторван. У Ржавого из носу и из губы сочится кровь, рубаха испачкана. Пустой чайник Дорик успел поставить на столик, но вода замочила какой-то тючок под лавкой.

Ржавого отправляют умыться. В коридоре сложно пахнет уборной, паровозной гарью и одеколоном. По дороге он, конечно, натывается на Элли.

Не так давно она с мужем приехала в гости к Ржавому и его жене на своей машине. Обедали, потом гуляли, смотрели город. Ужинали, гоняли чай. Говорили о детях, внуках. Вышли на балкон взглянуть вниз, в порядке ли машина. Ветка гигантской вишни лезла прямо в лицо. Рядом тянулась вверх береза, чуть дальше клен. Далеко-далеко простучал на стыках поездов. Вернувшись в комнату, вспомнили детство, Анну Лукьяновну. В конце войны каждый из повзрослевших учеников ее при первой возможности старался узнать о ее судьбе. Ее смерть во время оккупации в 1943 году болью отозвалась в сорока пяти подростках (двое погибли). Элла снова вышла на балкон удостовериться, что любимой машине ничего не грозит. Когда она возвратилась, Ржавый спросил ее, заметила ли она тогда, в июле сорок первого, его сложные маневры с короткими штанишками и длинными брюками. Конечно, нет. Напрасно он суетился. Элла звонко засмеялась и пошла спать в машину.

Тогда, в июле сорок первого, он не торопился обратно в свое отделение. Его ожидал неотвратимый нагоняй. Он был кругом и безвозвратно виноват. Но когда он наконец пришел, было тихо. Все занимались своими делами. Мария Осиповна, похоже, что-то шила. Мама напротив нее рассматривала майку сына. Рядом с нею спал Ярик. Остальные на верхних полках читали или дремали.

— Снимай рубаху,— сказала мама.

Ржавый стащил грязную рваную рубаху через свою незадачливую голову.

— Мария Осиповна, что вы делаете? — услышал он вдруг неестественно громкий, испуганный голос с истерическими интонациями, отдаленно похожий на мамин. — Мария Осиповна! Да что же вы делаете!